

Эдвард Кранкшоу

Трещины в Кремлёвской стене

Оглавление

Часть 1 Коммунизм и вечная Россия	4
Глава 1 Кто враг?.....	5
Глава 2. Большевистский заговор.....	9
Глава 3 Маркс в русском обличье	16
Глава 4. Руки Исава.....	21
Глава 5. Деспотизм и русский народ	31
Глава 6 Традиция экспансии	40
Часть 2 Сталинизм	48
Глава 1 Политбюро.....	49
Глава 2 Почему Сталин был неизбежен	54
Глава 3 Искажение идеи	65
Глава 4 Возрождение русского национализма	72
Глава 5 Поразительная история Н.Я.Марра	88
Глава 6 Внутренние противоречия	94
Часть 3 Холодная война	96
Глава 1 Внутреннее положение в стране.....	97
Глава 2 Объявление войны.....	107
Глава 3 Мотивы и цели	114
Глава 4 Россия и Германия.....	118
Глава 5 Тито и страны-сателлиты	123

Часть 4 Трещина в кремлевской стене.....	130
Глава 1 Скрытые десять миллионов	131
Глава 2 Цена холодной войны.....	144
Глава 3 Нервы войны	148
Глава 4 Быстрее, быстрее!	154
Часть 5 Заключительные размышления	173
Заключительные размышления	174

Часть 1 Коммунизм и вечная Россия

Глава 1 Кто враг?

Первое, что необходимо сделать в любом конфликте, — определить врага. Лишь после этого можно понять, из-за чего идёт борьба. Пока же мы не знаем, с кем воюем и почему, далеко продвинуться не удастся.

Конфликт, в который мы сегодня все вовлечены, продолжается уже несколько лет. Он перешёл от того, что мы называем холодной войной, к военным действиям в Корее. И даже теперь, когда противостояние достигло столь высокой степени ожесточённости, мы всё ещё не определили врага. Иными словами, у нас по-прежнему нет ясного представления о том, с кем мы боремся и ради чего. Это означает не только то, что мы не способны правильно оценить сильные и слабые стороны противника, и не только то, что мы не знаем, кто является нашим союзником в этой борьбе. Это означает также, что мы не можем вести её сколько-нибудь эффективно.

Чтобы скрыть столь поразительное положение вещей, мы заменяем точные определения ярлыками. Иногда мы называем врагом Россию, иногда — сталинизм, но чаще всего — коммунизм. При этом почти каждый из нас вкладывает в эти слова собственный смысл.

Вопрос об определениях может показаться отвлечённым и академическим, особенно посреди сражения, когда с обеих сторон гибнут люди. Однако именно в разгар сражения особенно важно уметь отличать врагов от друзей.

С точки зрения военного планирования главным противником в нынешнем конфликте считается Россия. Казалось бы, всё предельно просто. Но Россия в то же время является фактическим, хотя и неофициальным центром Коминформа. Следовательно, врагом оказывается уже коммунизм.

Между тем, как мы ещё увидим, многие жители России выступают против коммунизма. Значит, если врагом является коммунизм, то эти люди — наши союзники.

Франция — наш союзник. Однако многие французы являются коммунистами, а значит, в этом отношении они наши враги.

Когда же мы обращаемся к странам Восточной Европы, не говоря уже об Азии, положение становится ещё запутаннее. Тито — коммунист, но в борьбе против Коминформа он является нашим союзником. И так далее.

Кто же тогда наши враги? Кто наши друзья?

Необходимо внести в эти вопросы как можно больше ясности — хотя бы для того, чтобы понимать, по кому и куда следует наносить удар. Ясность важна и потому, что наши собственные действия должны быть недвусмысленными и понятными. Только тогда люди во всём мире смогут сами решить, какие принципы мы защищаем и на чьей стороне им следует быть.

Наконец, это важно ещё и потому, что, отвечая на вопросы о других, мы неизбежно должны определить, кого мы имеем в виду, когда говорим «мы».

Сегодня многие рассуждают так, словно Россия и коммунизм — одно и то же. Но это, очевидно, не так.

Россия — великая держава. Она существует уже долгое время и существовала бы сегодня, даже если бы коммунизма никогда не было.

Коммунизм же представляет собой политическую философию, определённое истолкование жизни. Разновидность социализма, основанная на диалектическом материализме Маркса и Энгельса, существовала бы и в том случае, если бы на свете не было России.

Можно пойти ещё дальше и сказать, что даже если бы Маркс и Энгельс никогда не родились, в современном мире всё равно действовало бы то или иное революционное социалистическое движение.

В действительности произошло следующее: Россия и то, что мы называем коммунизмом, — два явления, между которыми изначально не было никакой внутренней, неразрывной связи, — оказались отождествлены друг с другом. Поэтому для многих из нас, хотя, например, не для Тито, Россия и коммунизм стали синонимами. Московское правительство приложило немало усилий, чтобы укрепить это отождествление.

Причина достаточно проста.

Люди, объявившие войну нашему обществу, то есть большевистские вожди, одновременно являются правителями России. Однако первоначально они объявили эту войну не как правительство великой державы, а как главные представители определённой разновидности социализма, называемой большевизмом.

Если бы им удалось в наших глазах отождествить большевизм с Россией, они, несомненно, стали бы казаться гораздо могущественнее, чем можно было бы заключить, исходя лишь из численности их партии.

Однако большевизм никогда не был тождествен России, и в наших собственных интересах не смешивать эти два понятия.

Более того, необходимо сделать ещё один шаг и задаться вопросом: можно ли вообще с полным основанием называть коммунистами людей, именующих себя большевиками, — Сталина и его правительство?

Это не словесная игра. Это важнейший вопрос нашего времени.

По причинам, о которых речь пойдёт далее, единственно открыто заявляющими о своей враждебности противниками нашего общества — если не считать некоторых националистических движений в Африке и Азии — являются правительство Советского Союза, те силы, которые оно способно мобилизовать внутри Коммунистической партии Советского Союза, насчитывающей шесть миллионов членов, а также безусловно преданные ей коммунистические организации в других странах.

Поэтому чрезвычайно важно понять, ради каких целей советское правительство борется с нами сегодня, независимо от того, что происходило в прошлом: ради того, что оно считает интересами Советского Союза, или ради того, что оно считает интересами революционного социализма?

Мы не сможем даже приступить к ответу на этот вопрос, пока не отделим Россию от коммунизма, а коммунизм в понимании Кремля — от коммунизма в представлении бесчисленных тысяч искренних борцов за права угнетённых.

Когда мы это сделаем, ответ почти наверняка станет очевиден сам собой.

Пока же этот вопрос остаётся без ответа, мы рискуем самым серьёзным образом заблуждаться.

Говоря «мы», я не имею в виду то, что в наши дни слишком часто называют западной цивилизацией. Это понятие представляется мне иллюзорным, а если оно всё же соответствует действительности, то гордиться им едва ли приходится. Ведь термин «западная цивилизация», если он вообще что-либо означает, должен включать — не обращаясь даже к более близким примерам — нацистскую Германию, фашистскую Италию и франкистскую Испанию.

Под словом «мы» я понимаю мужчин и женщин во всех странах мира, принадлежащих к любым партиям и исповедующих любые религии — или не исповедующих никакой, — но верящих, по тем или иным причинам, в либеральную традицию и в необходимость её дальнейшего развития.

Я говорю о людях, верящих в господство закона, основанного, насколько это вообще возможно, на определённых абсолютных нравственных нормах, выработанных человечеством с огромным трудом, и готовых прибегнуть к силе, чтобы защитить власть закона там, где она уже установлена, но не ради каких-либо иных целей.

Мне кажется, именно это составляет тот необходимый минимум принципов, которые мы вправе считать своими.

Отстаивать меньшее означало бы отвернуться от этих принципов. Отстаивать большее — за исключением личных убеждений каждого отдельного человека — означало бы требовать от других принудительной верности нашим взглядам.

Разумеется, провозглашать приверженность определённой идее вовсе не означает жить в соответствии с ней.

Из сказанного следует, что мы можем признать лишь одного настоящего, деятельного врага: человека, группу или державную силу, которые сознательно пытаются с помощью насилия или предательства разрушить общества, пусть пока ещё весьма несовершенные, которые мы стремимся строить на основе этих убеждений.

При этом следует помнить, что существуют различные степени враждебности и что различие между некоторыми из них настолько велико, что превращается уже в различие по существу.

Человек, желающий вашей смерти, но ничего не предпринимающий для её осуществления, проявляет враждебность совершенно иного рода, чем тот, кто намеренно отправляется вас убивать. Если перенести это различие на отношения между государствами, мы получим всю разницу между миром и войной.

Человек, желающий вас убить, но физически неспособный на это, представляет собой ещё одну разновидность врага, которого мы обычно просто не принимаем в расчёт.

Наконец, человек, твёрдо решивший вас убить, но не уверенный в собственных силах или опасющийся последствий и потому готовый терпеливо ждать благоприятного момента, — это враг ещё одного рода. Впрочем, он может умереть раньше вас.

Сегодня в мире существует лишь одна группа людей, которая сознательно, целенаправленно и по каким бы то ни было причинам поставила своей задачей крушение нашего общества. Это группа русских, составляющих правительство Советского Союза.

У неё имеются союзники: убеждённые и добровольные, принуждённые, обманутые и даже не сознающие своей роли. В каком соотношении находятся эти категории, нам неизвестно.

Однако, размышляя о противнике в предстоящей великой борьбе, мы, по-моему, должны до последнего возможного момента исключать из числа врагов всех, кто не является сознательным и добровольным союзником Кремля.

Всех остальных следует всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами попытаться оторвать от вражеского лагеря — даже тех, кто сражается против нас по собственным причинам.

Маршал Тито называет себя коммунистом. Он не разделяет изложенных выше ценностей. Если верить его словам, он желал бы видеть революцию повсюду.

Однако до тех пор, пока он не предпринимает активных шагов для распространения революции посредством разрушения нашего общества, он, согласно нашим собственным принципам, должен иметь право говорить всё, что пожелает, а в собственной стране — делать все, что в его силах.

Многие порядочные и честные люди, принадлежащие к самым разным расам и вероисповеданиям, называют себя коммунистами.

В той мере, в какой они сознательно действуют как агенты Сталина, они сами превращают себя в активных врагов нашего общества, и обращаться с ними следует соответственно.

Но если они искренне считают себя честными людьми и не понимают, что Сталин использует их в собственных целях, они становятся досадной помехой, иногда даже опасной помехой. Однако они являются врагами нашего общества не в большей степени, чем миллионы других людей, чьи личные амбиции или идеалы затрудняют разумное управление государством, — быть может, даже с пользой затрудняют.

Иными словами, смешивать конфликт с Кремлём с общей борьбой против того, что принято называть коммунизмом, — значит подвергать себя серьёзной опасности.

Подобное смешение способно превратить наши действия в так называемой холодной войне в крестовый поход против коммунизма. А такой поход чрезвычайно легко вырождается в борьбу против всех движений, пусть ограниченных и заблуждающихся, которые в конечном счёте стремятся устранить наиболее тяжёлые пороки общества, отнюдь не являющегося совершенным.

И если в ходе этого крестового похода мы вступаем в открытый конфликт с так называемыми коммунистами, которые не поддерживают сознательно и добровольно кампанию Кремля или вообще не собираются переносить собственную борьбу за пределы своих стран, тогда агрессорами становимся уже мы сами.

В таком случае именно мы пытаемся силой оружия навязать другим народам наши ценности, какими бы возвышенными они ни казались.

Но это, как мне представляется, является прямым отрицанием самих этих ценностей.

Мне видится лишь один способ внести ясность в этот чрезвычайно сложный вопрос: попытаться понять, что происходило в России в течение последних тридцати лет, к чему стремится Кремль сегодня и почему.

Глава 2. Большевистский заговор

Называя русских большевиков, правителей Советского Союза, врагом, мы всего лишь принимаем всерьёз их собственные заявления.

Провозглашённая цель большевиков состоит в том, чтобы установить по всему миру то, что они называют коммунизмом, поощряя насильственные внутренние революции против существующих правительств. В подтверждение этой цели они ссылаются на Карла Маркса.

Официальная политика большевиков заключается в том, чтобы использовать так называемые революционные ситуации в других странах и, когда это возможно, поддерживать восставших советским оружием или угрозой его применения. Маркс ничего подобного не говорил, поэтому здесь им приходится ссылаться уже на Ленина.

Средством достижения своей цели большевики открыто объявляют подрыв авторитета и устойчивости буржуазных правительств во всём мире всеми мыслимыми способами. Поскольку правительство суверенного государства во внешних отношениях представляет само государство, подобные цели и методы равносильны объявлению войны всем некоммунистическим народам.

То обстоятельство, что собственно военные действия могут быть отложены или даже вовсе не планироваться, ничего не меняет по существу. Войну принято считать продолжением дипломатии; точно так же она может стать продолжением коммунистической стратегии — хотя прибегать к ней необязательно.

Сам Ленин высмеивал людей, пытавшихся различать войну наступательную и оборонительную, и вместе с тем совершенно недвусмысленно утверждал, что мировая революция сможет последовать лишь после целой череды кровавых столкновений между государствами.

Правда, и Ленин, и Сталин говорили также, что коммунистическая и некоммунистическая системы вполне могут мирно сосуществовать. Однако оба неоднократно давали понять, что это «мирное сосуществование» может быть лишь временным. Совсем недавно Сталин заявил ещё определённое: даже в самом Советском Союзе переход от социализма к полному коммунизму не может завершиться, пока существует «капиталистическое окружение».

Рано или поздно окончательное столкновение неизбежно.

Ещё в 1923 году, на XII съезде партии, при жизни Ленина, Сталин предложил удобную формулу, способную оправдать любую захватническую войну, которую Советский Союз пожелал бы начать. Выступая тогда в роли великого защитника права наций на самоопределение, он стремился оправдать недавнюю войну против Польши. Но его слова одновременно как будто заранее подготовили оправдание северокорейского нападения, совершённого почти тридцать лет спустя:

Бывают случаи, когда право на самоопределение вступает в противоречие с другим, более высоким принципом — правом рабочего класса укреплять свой строй после завоевания власти. В таком случае — и это необходимо сказать прямо — право на самоопределение не может и не должно препятствовать осуществлению права рабочего класса на диктатуру. Первое должно уступить второму. Именно так обстояло дело, например, в 1920 году, когда мы были вынуждены двинуться на Варшаву, чтобы защитить власть рабочего класса.

Под рабочим классом, разумеется, подразумевается Российская коммунистическая партия.

Может показаться странным называть большевиков врагами, когда они столь громогласно уверяют, что стремятся к миру. Современное движение за мир мы ещё рассмотрим позднее, в разделе, посвящённом советской пропаганде. Пока же, даже если принять эти заявления буквально, они не имеют прямого отношения к существу вопроса.

Защитники Кремля неизменно утверждают, что все советские действия, которые мы называем агрессивными, в действительности являются оборонительными и продиктованы страхом. До известной степени в этом есть доля истины. Но подобный довод лишь выдаёт желаемое за доказанное.

Какого именно мира хочет Кремль? И чего он боится?

В конце концов, преследуемый грабитель тоже испытывает страх. Но оправдывает ли этот страх новые преступления, которые он совершает, чтобы остаться на свободе? Даже убийца стремится к покою.

Кремль страшится того неизбежного столкновения, которое существует прежде всего в его собственном представлении. Иначе говоря, он боится последствий собственных действий.

Кремль перешёл в наступление против сложившихся систем Запада и ожидает, что Запад нанесёт ответный удар. Стремясь ослабить неизбежное контрнаступление, он усиливает собственный натиск и тем самым ещё больше увеличивает вероятность военного возмездия. Это, в свою очередь, усиливает страх Кремля — и так без конца.

Иными словами, страх советского правительства, совершенно искренний и почти навязчивый, отчасти является следствием того, что мы назвали бы нечистой совестью, — если бы само наличие совести не противоречило большевистским принципам.

Такой страх труднее всего рассеять, потому что лишь тот, кто его испытывает, знает, насколько веские основания он для него имеет.

Разумеется, большевики с их своеобразным пониманием истории видят происходящее совершенно иначе.

Мы, имеющие сложившийся общественный строй, который вправе защищать, сохранять или изменять в удобное для себя время и избранным нами способом, не можем расценивать большевистское наступление иначе как агрессию.

Но сами большевики видят в ленинской революции и во всём, что за ней последовало, прямую противоположность агрессии. В их глазах это контрудар по укрепленным позициям меньшинства-завоевателя, слишком долго распоряжавшегося всем по собственной воле.

Когда-то это меньшинство и подчинённое ему большинство рассматривались как классы. Теперь их стали рассматривать как нации.

В годы эмиграции и подпольной борьбы против царской власти большевики под руководством Ленина выработали особый кодекс поведения.

Он был не только естественным порождением преследуемого меньшинства, вынужденного брать оружие там, где оно его находило. Это был также кодекс группы людей, называвших себя материалистами и придерживавшихся материалистического понимания истории.

Согласно этому пониманию, все ценности относительны, а всякая мораль представляет собой защитный механизм господствующего класса в смертельной борьбе противоборствующих интересов, которая и служит главной движущей силой прогресса.

Так, например, церковь с её нравственными заповедями будто бы была создана для того, чтобы запугивать бедных и приучать их к покорности перед сильными и богатыми.

Религия, объявленная опиумом для народа, рассматривалась как ложное утешение для ограбленных людей, мирящихся со своей жалкой участью благодаря надежде на сокровища, уготованные им на небесах.

Правосудие объявлялось крепостью богатого человека.

И так далее.

То обстоятельство, что религия, церковь, правосудие, а вместе с ними весь аппарат закона, порядка и морали действительно слишком часто извращались именно таким образом, делает подобные обвинения особенно трудными для опровержения.

Тем более когда их выдвигает фанатик, чья логика устроена примерно так: поскольку у всех собак есть хвосты, всякое хвостатое животное непременно должно быть собакой.

Религию, мораль и правосудие действительно использовали в низменных целях — когда чаще, когда реже. Следовательно, утверждает такой фанатик, они низменны сами по себе.

Честность и истина, так называемые нравственные качества, вообще лишены самостоятельного смысла и являются лишь частью хищнического кодекса, предназначенного для удержания бедных в повиновении.

Моральные ценности изменяются в соответствии с потребностями того класса, который в данный момент находится у власти. Следовательно, никаких абсолютных нравственных норм не существует.

И если революционеру выгодно превозносить ложь, то вопрос о безнравственности попросту отпадает.

И так далее.

Разумеется, большевикам, как преследуемому меньшинству, было выгодно возвеличивать ложь. Но их понимание морали было таково, что им не требовалось даже оправдываться формулой «цель освящает средства».

И всё же человеческий разум настолько несовершенен, а человек, даже называющий себя материалистом, остаётся настолько человеческим существом, что многие большевики всё-таки прибегали и к этому совершенно излишнему оправданию.

Ленин, однако, не прибегал.

Он ни разу не извинился ни за один свой поступок. Он ощущал себя участником исторической драмы. Роль, которую он исполнял, была ролью, предписанной великой безнравственной материалистической диалектикой. И в этой мрачной роли было определённое величие.

Ленин был не только прирождённым материалистом, но и прирождённым заговорщиком. Кроме того, он был прирождённым русским.

Сочетание русской склонности к заговору с природным материализмом открывает почти безграничные возможности для всевозможного мошенничества. Ленин использовал их в полной мере.

Он производил бы более сильное впечатление, если бы несколько меньше наслаждался собственным двуличием.

Подлинно великий большевик, подобно дьяволу или сверхчеловеку, должен был бы стоять по ту сторону добра и зла и не испытывать гордости за собственный обман. Ложь должна была бы быть для него естественной стихией, как для Аполлиона [Аполлион — в библейской традиции имя ангела бездны, означающее «губитель», «разрушитель» (Откр. 9:11). Не следует путать с Аполлоном — древнегреческим богом света и искусства. - прим.перев].

Но Ленин, при всех своих способностях, был всего лишь человеком — нередко чрезмерно хитрым, упоённым собственной демоничностью и потому при каждом удобном случае выставлявшим её напоказ.

Порой он даже прилагал огромные усилия, чтобы обманом получить то, что мог бы без труда получить, просто попросив.

Итак, именно такой была атмосфера, окружавшая первых большевиков.

Разумеется, они прекрасно сознавали собственное бессилие перед громадным и прочно установившимся мировым порядком, хотя и убеждали себя, что этот порядок обречён.

Успех ленинской революции был последним, чего они ожидали.

Некоторые из них, подобно меньшевикам, были убеждены, что Ленин предпринял свою попытку по меньшей мере на одно поколение раньше времени.

Иными словами, в гулкие коридоры петровских дворцов они вошли не только с кровью на руках и грязью на сапогах, но также со страхом в сердце и с психологией довольно жалкого тайного общества, которое внезапно призвали не строить заговоры, а управлять государством.

По многолетней привычке они ещё долго продолжали плести заговоры: теперь уже друг против друга, поскольку сами оказались на вершине власти; против соперничающих революционных партий; против чиновников, без которых совершенно не могли обойтись.

Спасло их лишь то, что против них объединились мощные силы русской контрреволюции, поддержанные армиями иностранных держав.

Эта сила, подобно нынешнему американскому обществу в его борьбе с тем, что оно называет коммунизмом, наносила удары без разбора.

Она сражалась не только с большевиками, представлявшими единственную серьёзную угрозу порядочному общественному устройству, но и с миллионами простых людей, которые по тем или иным причинам не желали возвращения старого режима.

Тем самым она сама вынудила этих людей вступить в союз с Лениным, сумевшим представить себя единственным дееспособным вождём.

В ходе этой грандиозной борьбы большевистская партия обрела опору.

Когда же бои закончились, а истерзанной страной овладели хаос и голод, оспаривать её власть уже было некому.

Большевики по-прежнему оставались заговорщиками, но теперь их заговор приобрёл гораздо более широкий размах.

Это уже был не заговор тесно спаянной партии против существующего порядка. Теперь это был заговор небольшой группы людей против народа, которым они управляли, а на другом уровне — заговор одного правительства против всех остальных правительств.

В свои новые заговоры большевики привнесли весь набор приёмов, созданных для выживания небольшой партии подрывных фанатиков и авантюристов — русских, среди которых было немало евреев, — фантастическим образом строивших планы уничтожения существующего общества в Цюрихе и на Финсбери-серкус [Финсбери-серкус — площадь в лондонском Сити; в начале XX века в этом районе находились организации и конторы русских политических эмигрантов и революционеров.- прим.перев.] либо проповедовавших мятеж за китайской стеной царской России и при этом непрерывно и ожесточённо ссорившихся между собой.

Это была партия русских, завладевших немецкой философией истории.

Более умным она предоставляла интеллектуальный арсенал, менее умным — оправдание для поведения педантичных головорезов, которое они затем называли исторической необходимостью. Именно в этой атмосфере формировались тактика и стратегия большевизма.

При этом чрезвычайно важно никогда не смешивать, с одной стороны, тактику и стратегию, а с другой — конечные цели.

Большевики всегда воспринимали себя как партию меньшинства, ведущую ожесточённую борьбу за существование и, вполне заслуженно, ненавидимую всем остальным миром.

Высшие руководители Советского Союза не способны освободиться от этого представления даже сегодня, хотя уже давно отошли от своих первоначальных принципов.

Насколько такой же страх присущ новым людям, выросшим и пришедшим к власти уже в сильной России, ещё предстоит увидеть.

Однако можно с уверенностью сказать, что всё мировоззрение партии — как в России, так и за её пределами — определяется тем обстоятельством, что в практику государственного управления она привнесла прискорбные приёмы слабой и преследуемой стороны.

Большинство большевиков поначалу не верили в собственную власть.

Одни, как Каменев и Зиновьев, считали, что им следует дождаться следующего этапа марксистского исторического цикла и лишь затем пытаться захватить власть.

Другие, подобно Ленину, воспринимали Октябрьскую революцию как репетицию, как символический акт по образцу Парижской коммуны — заранее обречённый, но необходимый этап большевистского движения.

Однако власть, которую, по выражению Ленина, они подняли с улицы после крушения правительства Керенского, осталась в их руках. Это, по-видимому, на некоторое время затуманило их понимание международного положения.

Так, Ленин, на этот раз рассуждавший в духе чистого марксизма, совершенно не ожидал вмешательства западных держав.

Когда же вмешательство произошло, он не увидел в нём беспорядочную и судорожную попытку оказавшегося в тяжёлом положении союза помешать кучке оборванцев заключить от имени России сепаратный мир с Германией.

Ленин немедленно решил, что понял подлинный смысл происходящего.

Это была империалистическая война.

Россия являлась самым слабым звеном империалистической цепи, а попытки союзников восстановить это звено представляли собой очередное проявление марксистской диалектики — разумеется, уже исправленной самим Лениным.

Отныне предполагалось, что капиталистические державы будут при каждом удобном случае и всеми возможными средствами нападать на большевистскую Россию.

Общая идея пролетарской революции основана на марксистской диалектике.

В исключительно материальном мире единственной движущей силой признаётся личная выгода.

Сильные, которым тем или иным способом удаётся завладеть долей земных благ, превышающей то, что им по справедливости причитается, объединяются для защиты приобретённого.

Так возникает господствующий класс, определяющий устройство всего общества.

Все общественные учреждения — от церкви до правосудия — более или менее сознательно создаются для защиты и укрепления господствующего класса и для эксплуатации угнетённых классов.

Но ничто не остаётся неизменным.

Всё несёт в себе семена собственного разложения.

Чем совершеннее организована система, тем отчётливее проявляются внутренние противоресы и напряжения.

Рано или поздно возникают острые противоресия и давление, и существующий строй рушится под воздействием тех самых сил, которые он вызвал к жизни ради собственного развития.

Так, например, аристократическое феодальное общество уступило место своей противоположности — торговому буржуазному обществу, из которого затем развился капитализм.

Точно так же буржуазно-капиталистическое общество должно уступить место своей противоположности — обществу, которым будут управлять угнетённые рабочие и ремесленники. Это взаимодействие противоположностей марксист рассматривает как непреложный закон истории. Однако пролетарское общество должно стать последним этапом, окончательным синтезом. Ведь впервые власть перейдёт не к отдельной группе с особыми интересами, а к широким массам. После этого классы исчезнут, а вместе с ними исчезнут и столкновения эгоистических интересов. В таком изложении теория выглядит не слишком убедительно. Однако следует помнить, что Маркс писал в историческую эпоху, когда вследствие промышленной революции капиталисты и владельцы фабрик получили возможность эксплуатировать рабочих в масштабах, невиданных со времён рабства. Пропасть между меньшинством победителей и покорным большинством стремительно расширялась. В воздухе ощущалось революционное брожение, и Маркс не видел причин, по которым этот процесс мог бы остановиться или изменить направление, прежде чем завершится грандиозным крушением. Он ошибался. Во-первых, он не понял — как впоследствии выразился профессор Карп [Эдвард Халлетт Карп (1892–1982) — британский историк, дипломат и исследователь Советского Союза, автор многотомной *«Истории Советской России»* и книги *«Что такое история?»*. — прим.перев.], — что капиталистическая система создала огромную сеть людей, кровно заинтересованных в её устойчивости. Речь шла о простых людях, предпочитавших попытаться улучшить своё положение внутри существующего строя, а не разрушать его до основания и начинать всё заново. Во-вторых, Маркс не понял, что никакого окончательного синтеза быть не может. Даже если бы пролетарская революция произошла в точности по его предсказанию, человечество всё равно продолжало бы делиться на сильных и слабых, которые вновь образовали бы два лагеря — эксплуататоров и эксплуатируемых, как это и произошло в России после 1917 года. Тем не менее остаётся фактом, что, если отвлечься от революционной теории Маркса, его идеи глубоко повлияли на лучшие направления современной политической и экономической мысли. И, как ни парадоксально, это влияние было бы значительно сильнее, если бы группа русских не сосредоточилась исключительно на его революционной доктрине и не убедила себя в том, что сумела воплотить её в жизнь. Когда на исторической сцене появился Ленин, всякому человеку, обладавшему хотя бы крупицей здравого смысла, было очевидно, что марксистская теория революции дала сбой. Сам Ленин тоже понимал, что с этим необходимо что-то делать. Его главным вкладом в марксистскую мысль, впоследствии унаследованным Сталиным, стало особое учение о том, каким именно образом должна осуществиться пролетарская революция. Маркс верил, что рано или поздно пролетарская революция охватит весь мир. Но он также полагал, что каждая страна должна породить собственную революцию. Международная солидарность рабочего класса могла ускорить её, однако сама революция могла произойти лишь на определённой ступени развития данной страны и в форме, соответствующей её собственным условиям. Она не могла начаться прежде, чем страна пройдёт этап капиталистического развития.

Русские социал-демократы в эмиграции — как большевики, так и меньшевики — в целом придерживались этого взгляда.

В их понимании Россия должна была сначала пережить буржуазную революцию, и только после этого можно было хотя бы задуматься о революции пролетарской.

Ленина такое положение не устраивало.

Россия, по общему признанию, стояла на самом последнем месте среди стран, созревших для пролетарской революции.

Она была отсталой страной со слабо развитым капитализмом, ничтожным по численности пролетариатом и огромной массой неграмотного крестьянства, едва вышедшего из феодального состояния.

Ленину требовалось, не выходя за пределы марксистского канона, обосновать перемещение России с последнего места на первое.

Для этого пришлось расширить сам марксистский канон.

Ленин сделал это, заявив, что со времён Маркса исторические условия изменились.

Во времена Маркса основной единицей капиталистического общества было замкнутое буржуазное государство, такое как Великобритания или Германия.

Теперь же развитие империализма, при котором одни народы эксплуатируют другие народы, а не одни классы — другие классы внутри отдельных государств, коренным образом изменило положение.

Капиталистическое государство могло отсрочить революцию у себя дома, повышая жизненный уровень собственных масс за счёт плодов колониальной эксплуатации.

Так Ленин пришёл к следующему поразительному выводу, основанному, по существу, на рассуждении «после этого — значит вследствие этого»:

Западноевропейские капиталистические страны завершают своё развитие к социализму не путём постепенного «созревания» социализма, а посредством эксплуатации одних стран другими, эксплуатации первой страны, побеждённой в империалистической войне, то есть России, в сочетании с эксплуатацией всего Востока. С другой стороны, именно вследствие первой империалистической войны Восток оказался окончательно втянут в общий водоворот мирового революционного движения.

Иными словами, Ленин перенёс учение Маркса о классовой борьбе, которое уже явно начинало рушиться, из внутренней жизни отдельных государств на международную арену.

Эксплуататорами и эксплуатируемыми теперь объявлялись не классы, а целые народы.

Тем самым Ленин не только дал квазимарксистское объяснение русской революции как «разрыва самого слабого звена империалистической цепи».

Он также предоставил Советскому Союзу, выступавшему теперь как сильная держава и первая база мировой революции, предлог для вмешательства во внутренние дела других государств.

Именно это позволило ему прибегать к тому, что господин Бевин [Эрнест Бевин (1881–1951) — британский профсоюзный деятель и политик-лейборист, министр иностранных дел Великобритании в 1945–1951 годах; один из ключевых деятелей западной политики в начале холодной войны.- прим.перев.] назвал самым отвратительным международным преступлением: разжиганию гражданских войн как инструменту государственной политики.

Ленин не просто принёс коммунизм в Россию. Наоборот, и это важно, он вверг Россию в коммунизм.

Глава 3 Маркс в русском обличье

Именно новая ленинская доктрина — теория империализма — превратила русских большевиков, эту захудалую компанию, в открытых врагов всякого устойчивого общественного порядка, где бы и когда бы он ни существовал.

Успех ленинской революции, ставший неожиданностью даже для самого Ленина, и последующее подчинение большевиками всей России дали им в руки оружие и превратили в грозную силу.

Без России их враждебность оставалась бы бесплодной. Без теории империализма, которая не являлась частью марксизма, она была бы расплывчатой и зачастую пассивной.

Именно Ленин — и никто другой — дал большевикам их политический курс и вооружил их настоящими клыками.

Об этом особенно важно помнить для понимания всего, что произошло впоследствии, тем более сегодня, когда образ Ленина до неузнаваемости смягчён и окружён сентиментальным ореолом, а все бедствия мира принято возлагать непосредственно на Сталина.

Сталин, несомненно, породил собственные бедствия, которые мы ещё рассмотрим. Но они естественным и, возможно, неизбежным образом выросли из ленинизма.

Маркс и сам по-своему был неразборчив в средствах.

Он радовался войнам, потому что считал, что они приближают его революцию. Он желал распространения капитализма в отсталых странах, невзирая на те страдания, которые, по его собственному убеждению, этот процесс должен был вызвать.

Всё это было необходимо, чтобы его чудовищная диалектическая машина тяжело и неуклюже вступила в последний круг своего движения и привела к пролетарской революции, которая сметёт капитализм.

В политической тактике Маркс был макиавеллистом, а по характеру — злобным и язвительным человеком.

Но рядом с Лениным он выглядел невинным, словно младенец.

Представляя себе войну, Маркс думал, например, о борьбе Германии и Англии за рынки. Историческое назначение такой войны, по его мнению, состояло в том, чтобы ослабить капиталистический строй и усилить недовольство рабочих.

Но даже в самых злобных своих фантазиях он, несомненно, не мог представить социалистическое государство, которое нападает на капиталистическую страну, чтобы с помощью оружия империализма распространять блага коммунизма.

Тем более не предвидел он сознательного использования национальных стремлений отсталых народов ради ослабления капиталистической системы.

Для того чтобы придумать нечто подобное, потребовался Ленин.

Иными словами, потребовалось, чтобы идеи немецкого профессора были переработаны русским государственным деятелем.

Мне кажется, русская природа Ленина никогда не была понята в должной мере — и меньше всего самим Лениным.

Между тем понять её чрезвычайно важно.

Если бы Ленин не был русским до мозга костей, коммунизм в том виде, в каком мы представляем его сегодня, — как смертельного врага, — попросту не существовал бы.

В октябре 1917 года большевики почти бескровно захватили власть — кровь пролилась позднее — и в одно мгновение превратились из профессиональных революционеров, живших в подполье или эмиграции, в правителей огромной страны.

Сначала они чувствовали себя у власти неуверенно, а страна пребывала в хаосе.

Но с самого начала им пришлось приспособливать марксизм к обстоятельствам, которых Маркс не мог предвидеть.

В 1914 году Второй интернационал рухнул под напором патриотических чувств, охвативших все страны.

Для продолжения его якобы наиболее чистых традиций был создан Третий интернационал.

Его основали большевики, а поскольку штаб-квартира организации находилась в России, она сразу стала большевистской монополией.

Организация получила название Коммунистического интернационала, или Коминтерна. Первым её руководителем стал Зиновьев.

О том, какая путаница царила тогда в головах большевиков, свидетельствует хотя бы тот факт, что Коминтерн очень скоро вступил в конфликт с недавно созданным советским внешнеполитическим ведомством — Народным комиссариатом иностранных дел.

Иными словами, интересы Советского Союза как государства почти сразу столкнулись с интересами мировой революции.

Теоретически Коммунистический интернационал должен был представлять собой наднациональное правительство, своего рода всемирное правительство коммунистов под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Он должен был стоять выше внутреннего правительства Советского Союза и отдавать Коммунистической партии СССР столь же обязательные распоряжения, какие он отдавал коммунистическим партиям Франции или Эквадора.

На деле Коминтерн быстро превратился в орудие советской внешней политики, то есть в инструмент советского внешнеполитического ведомства.

Противоречие между национальными интересами и интересами мировой революции необходимо было разрешить.

На это ушло несколько лет, однако итог был вполне естественным и неизбежным: стратегия мировой революции оказалась подчинена безопасности Советского Союза.

При этом сохранялась удобная формула, согласно которой СССР являлся базой и крепостью революции во всём мире.

Теоретически русские большевики не признавали государственных границ, а Петроград, а затем Москва считались лишь временными штаб-квартирами всемирного движения.

Теоретически национальные делегации в Коминтерне были равноправны.

Это означало, например, что голоса ведущих немецких коммунистов в руководящих органах Российской коммунистической партии должны были иметь такой же вес, какой голоса русских имели в руководстве Германской коммунистической партии.

На практике ничего подобного не было.

Русские большевики, совершившие успешную революцию и завладевшие обширной территориальной базой, распоряжались всем.

Господство русских до известной степени скрывалось тем, что Россия формально перестала существовать.

На её месте возник Союз Советских Социалистических Республик, территория которого в значительной мере совпадала с территорией бывшей Российской империи.

Однако официально он рассматривался лишь как ядро будущего всемирного союза.

Тем временем Советский Союз, который на деле и был Россией, должен был выжить как база мировой пролетарской революции.

После нескольких довольно легкомысленных внешнеполитических авантюр подавляющая часть сил большевиков была направлена именно на обеспечение этого выживания — то есть на сохранение Советского Союза в качестве одной из великих держав среди других держав.

Несмотря на давление иностранной интервенции, переход к такой политике произошёл не сразу.

Большевики возлагали большие надежды на Германию. Они также пытались насадить свой строй в Польше и Финляндии посредством войны, а в Китае — посредством гражданской войны.

Но постепенно они перешли к обороне.

В 1921 году, ещё при Ленине, они заняли оборонительную позицию перед лицом русского народа.

В рамках новой экономической политики, разрешившей частную торговлю, они пошли на далеко идущие уступки антикоммунистическим настроениям.

В 1938 году, уже при Сталине, они перешли к обороне перед внешним миром, временно отказавшись от всяких планов революционного наступления.

Под лозунгом «Социализм в одной стране» они пожертвовали ближайшими перспективами мировой революции ради безопасности Советского Союза как великой державы.

Одновременно переход к обороне на международной арене позволил им сосредоточить силы для нового и окончательного наступления на русский народ, который к тому времени ещё далеко не был покорён.

Когда с русским народом было покончено, а страна прошла через головокружительную промышленную революцию — то есть к завершению второй пятилетки в 1938 году, — база была укреплена и надёжно защищена.

Теперь большевики снова могли проявить деятельный интерес к большому миру, который в то время уже дрожал под тенью нацистской угрозы.

Так завершился процесс, в ходе которого группа революционеров, начинавших как противники определённого общественного строя — капитализма, где бы он ни существовал, — превратилась в могущественного врага целых государств и народов.

Как уже говорилось, Маркс этого развития не предвидел.

Впрочем, он вообще не оставил никакого чертежа социалистического государства, ограничившись теорией предварительной революции.

Даже Ленин не смог предвидеть подобного исхода.

Он не представлял себе возможности создать и сохранить социалистическую Россию, если хотя бы в нескольких соседних крупных государствах также не произойдут успешные революции.

Но хотя Ленин и не мог предвидеть будущего, в хаосе первых лет он энергично и умело приспособлялся к непредвиденным обстоятельствам.

Более того, предостерегая от опасности возрождения великорусского шовинизма — эти предостережения, кстати, были направлены прежде всего против Сталина, — Ленин сам делал такое возрождение неизбежным.

В известном смысле он был прав, полагая, что революция в России не сможет победить, если её не поддержат соседние революции.

Дело в том, что русская революция в том виде, в каком её представлял Ленин, действительно не победила и никогда уже не победит.

Она превратилась во что-то совершенно иное.

Однако это превращение шло полным ходом ещё при жизни и руководстве Ленина.

Революция перестала быть марксистской пролетарской революцией и стала русской промышленной революцией.

С предполагаемыми революциями капиталистического Запада её роднил теперь только марксистский жаргон.

В некотором смысле ленинская революция оказалась гораздо ближе к прежним буржуазным революциям Запада, перенесённым на русскую почву, чем к пролетарским революциям, предсказанным Марксом.

Стоит отметить, что ни одна из таких пролетарских революций до сих пор нигде в мире не произошла.

Путаница возникла потому, что эту революцию совершали люди, убеждённые, будто они осуществляют революцию марксистскую.

Между тем ничто не мешало России произвести какую-либо иную революцию, не вступая при этом в непримиримую вражду со всем остальным миром.

Позднее нам предстоит задаться вопросом, почему Ленин, руководивший лишь одной фракцией небольшой революционной партии, добился успеха там, где остальные потерпели поражение.

Пока достаточно сказать, что ему это удалось.

Но его теория империализма, посредством которой, как мы видели, классовая борьба была перенесена из внутренней жизни государств на международную арену, неизбежно предполагала, что коммунистические державы окажутся в состоянии смертельного и воинственного противостояния с державами антикоммунистическими.

В результате мировая революция могла быть достигнута лишь через череду кровавых войн между государствами.

Важно помнить, что ни одна другая левая группа или партия никогда не рассуждала подобным образом.

Такой ход мысли был свойствен исключительно русским социал-демократам.

Но даже меньшевистское крыло русской социал-демократии не разделяло подобных взглядов.

Следовательно, Российская большевистская партия, позднее получившая вводящее в заблуждение название коммунистической, была единственной революционной партией в истории, объявившей войну не отдельным классам, а целым народам.

Подчеркнуть это важно потому, что, если судить по официальным заявлениям, врагом является не социализм как таковой, который иногда, например в Югославии, также именуют коммунизмом.

Врагом является большевизм, или исключительно московский коммунизм, вместе со всеми силами, которые он сумеет склонить на свою сторону доводами, убеждением, обманом или принуждением.

Поэтому, оценивая силу противника, мы должны выяснить, насколько Кремль располагает искренней и убеждённой поддержкой во всех своих начинаниях:

среди русского народа;

среди народов государств-сателлитов России;

среди коммунистических партий и попутчиков в других странах;

среди отсталых народов Азии, Африки и Южной Америки, стремящихся к национальному освобождению.

Наконец, нам необходимо понять, в какой степени сами руководители Кремля всё ещё верят в ленинизм.

Глава 4. Руки Исава

Первый шаг к правильной оценке силы противника состоит в том, чтобы, насколько это возможно, отделить русское начало от того, что мы называем коммунизмом.

Захватив власть, большевики перестали быть гонимыми революционерами. Они стали правителями России, а Россия именно из-за них превратилась в преследуемую страну.

Это, естественно, ещё сильнее укрепило большевиков в их заговорщических привычках, ярче всего проявившихся в деятельности Коминтерна.

Одновременно возвращение в русскую среду пробудило и усилило в них собственно русские черты. Поэтому сегодня перед нами уже не враждебная группа большевиков, которым довелось быть русскими, а враждебная группа русских, которым довелось стать большевиками и которые в значительной степени переделали правительство великой державы по собственному образу и подобию.

В наши дни общепризнано, что сталинский режим во многом приобрёл черты традиционной России. Особенно во время войны было распространено убеждение, что старые русские традиции полностью поглотили марксистскую идеологию. Теперь от этого взгляда в значительной мере отказались.

Между тем тогда мы были ближе к истине, чем теперь готовы признать.

Разумеется, русское начало Кремля заключается в чём-то гораздо более глубоком, чем увлечение воинскими знаками различия, архиепископами, царскими святыми и национальными героями. Всё это является обычным набором средств, к которым прибегло бы любое русское правительство, стремясь заручиться поддержкой народа во время серьёзного общенационального кризиса.

Русское начало Кремля возникло задолго до сталинского режима.

Как уже говорилось, его внёс в революционное движение сам Ленин.

Более того, Ленин настолько глубоко русифицировал революционный социализм, что именно с этого удобнее всего начать рассмотрение нашей темы.

Согласно распространённому представлению, которое разделял и сам Ленин, он был воплощением международного революционера.

Сталин же обычно изображается великим предателем той особой разновидности марксизма, которую создал Ленин и которая получила название большевизма.

На деле, как я попытаюсь показать, Сталин лишь довёл ленинизм до его логического завершения.

Но это завершение оказалось гораздо дальше от марксизма, чем большинство людей готово допустить.

Его даже правильнее было бы назвать антимарксизмом.

Это, по моему убеждению, не предательство Ленина, а, напротив, раскрытие его подлинной сущности.

Ленина следует рассматривать прежде всего как русского человека и лишь затем — как марксиста. Сегодня все бедствия России неизменно приписывают Сталину, а иногда — в зависимости от политических взглядов критика — и Ленину как большевику.

Но почти никогда их не связывают с Лениным как русским.

В пользу такого взгляда ведётся мощная пропаганда, и звучит она множеством голосов.

Его разделяют русские, отвергающие и Ленина, и Сталина, подобно Керенскому; русские и иностранные коммунисты, отвергающие Сталина, подобно Троцкому и Тито; иностранцы, симпатизирующие русскому народу, но не способные мириться с его правительством; наконец,

бывшие коммунисты — русские, как Кравченко, и иностранцы, как Кёстлер и Бёрнем.[Виктор Кравченко (1905–1966) — советский невозвращенец, автор антисталинской книги *«Я выбрал свободу»*; Артур Кёстлер (1905–1983) — бывший коммунист, писатель и автор романа *«Слепящая тьма»*; Джеймс Бёрнем (1905–1987) — американский политический теоретик, бывший троцкист, впоследствии один из видных критиков коммунизма. — прим.перев.]

Все эти голоса, к которым присоединяется почти вся белая эмиграция, объединяет одно: у каждого имеются веские личные причины доказывать, что бедствия, от которых ныне страдают Россия и весь мир, являются бедствиями сталинскими, а иногда и ленинскими, но ни в коем случае не русскими.

Несомненно, Сталин совершил многое из того, чего Ленин не совершал, и многое из того, чего Ленин, останься он жив, возможно, не совершил бы.

Однако для понимания конфликта, в который мы сегодня втянуты, чрезвычайно важно осознать: главное в действиях Сталина уже содержалось в идеях и методах Ленина.

А сами эти идеи и методы были порождены не только Марксом и Энгельсом, но в такой же мере и Россией.

Ленин был бы умнее Сталина и в известных пределах гибче.

Поэтому ему, вероятно, удалось бы избежать некоторых ошибок, за которые Сталин заставил расплачиваться бесчисленные массы невинных людей.

Но рано или поздно, останься Ленин жив, он всё равно был бы вынужден пойти по пути Сталина — либо уйти в отставку, либо покончить с собой.

Несомненно и другое: Ленину удалось навязать многострадальному русскому народу форму централизованной тирании меньшинства, которую большинство глубоко ненавидело.

Однако одна из целей этой книги состоит в том, чтобы показать: после отречения царя и Февральской революции, к которым Ленин не имел никакого отношения, та или иная абсолютная диктатура стала неизбежной.

Февральскую революцию совершил не Ленин, находившийся тогда в Швейцарии, и не его бессильная в то время партия.

Её совершил русский народ, хотя им и манипулировали коммерческие круги, вскоре сметённые тем самым потоком, который они выпустили на свободу.

А затем русский народ, как это нередко бывало в русской истории, не знал, что делать дальше.

Но на этот раз он зашёл гораздо дальше, чем во время прежних судорожных восстаний против угнетения.

Он уничтожил центральное самодержавие, оставив после него невыносимую пустоту.

Эту пустоту необходимо было заполнить.

Ленин её и заполнил.

Если это действительно так, а, как мне кажется, дальнейшее изложение это подтвердит, то большевистский режим следует признать естественным порождением России, хотя, разумеется, далеко не единственно возможным.

Подобное утверждение вызывает резкое возмущение у русских противников советской власти.

Когда мы подробно рассмотрим советскую систему, понять их чувства будет нетрудно.

Но даже бесспорный факт, что миллионы русских ненавидят свой режим, ничего здесь не меняет.

Гитлер был естественным порождением Германии, хотя многие немцы его ненавидели.

Бюрократия Уайтхолла, доведённая до совершенства лейбористским правительством, является естественным порождением Англии, хотя очень многие из нас её ненавидят и искренне считают, что она душит страну.

Негодование по поводу последствий собственных поступков не освобождает нас от ответственности за них.

Позднее нам ещё предстоит подробнее поговорить о русском характере.

Здесь он упоминается лишь для того, чтобы подкрепить мысль: нынешний режим в России органически связан с русским народом, как бы тяжело этот народ ни стонал под его гнётом.

Советский режим — это русский ответ на русские обстоятельства.

Покорность народа ненавистному режиму — тоже русский ответ на русские обстоятельства.

Правительства в России, по-видимому, существуют для того, чтобы их ненавидели.

Разумеется, это простое обобщение вовсе не означает, что советский режим был единственно возможным ответом на сложившееся положение.

Тем более оно неприменимо к каждому отдельному человеку.

Отнюдь нет.

Но оно относится к русским массам, которые действительно являются массами, и в этом Ленин был прав.

Если эти строки попадутся русскому читателю, возмущённому предположением, что советские законы о труде или лагеря господина Берии обязаны своим существованием не только бессовестной диктатуре, но и характеру самого непосредственного, добродушного и беспечного народа на свете, пусть он ответит на два вопроса.

Может ли он честно представить себе русского крестьянина, подчиняющегося чему-либо, кроме ласки и доброты либо открытой силы?

И существовало ли когда-либо в истории правительство, способное управлять одной лишь добротой?

Если в советском режиме можно увидеть пусть и искажённое, сжатое отражение русского народа, то ещё более очевидно и бесспорно влияние традиционных русских методов управления на мысли и действия Ленина.

Россия как мировая держава тревожит нас уже более двух столетий, а в течение последнего столетия — особенно сильно.

Она тревожила бы нас и сегодня, независимо от существования коммунизма.

Это огромная и непостижимая сила, почти во сне расширяющаяся в направлении наименьшего сопротивления.

Ею движет хаотическое смешение побуждений — от болезненной одержимости собственной безопасностью до мрачного высокомерия, выражающегося в глубоком, хотя и смутном убеждении, будто историческая миссия России заключается в том, чтобы спасти мир от него самого.

Одержимость безопасностью особенно ярко проявляется в страхе перед любым вакуумом власти.

Сегодня, когда именно вакуум власти стал самой заметной особенностью карты мира, Россия в любом своём обличье неизбежно использовала бы открывающиеся возможности.

Но с этим мы могли бы иметь дело в рамках обычной политики равновесия сил.

С другой стороны, коммунизм или иная разновидность революционного социализма, идущая рука об руку с революционным национализмом, тоже являлись бы важной и тревожной чертой нашей эпохи — независимо от России.

Для того чтобы воспламенить Дальний Восток, Москва вовсе не была необходима.

И наоборот: реакционная царская Россия тоже сумела бы воспользоваться националистическими волнениями на Дальнем Востоке и обратить их себе на пользу.

До революции она делала это довольно успешно.

Особую опасность нынешнему положению придаёт именно соединение естественного революционного движения, охватившего весь мир, с экспансионистской державой.

Отождествив себя с этим движением, такая держава получает возможность извлекать из него выгоду, а в различной степени также направлять и контролировать его.

К тому же речь идёт о державе, находящейся в руках людей, убеждённых, что рано или поздно их система должна либо завоевать весь мир, либо сама быть уничтожена.

Однако у этой картины есть и другая сторона.

Именно соединение России, большевизма и революционного духа, распространившегося по всему миру, так часто внушает нам чувство безнадёжности.

Но если, как я полагаю, ленинизм является особым извращением русского начала, то он неизбежно должен быть отмечен всеми существенно русскими чертами, включая отношение России к войне и внешней политике.

Следовательно, русский национальный характер приобретает огромное значение, поскольку он способен изменять и ограничивать большевистскую логику.

Точно так же сила советского режима, какова бы она ни была, зависит от органической связи сталинизма с русским народом.

Но такой связи, несомненно, нет между сталинизмом и народами восточноевропейских государств-сателлитов или Китаем, не говоря уже о нерусских народах самого СССР.

Наконец, та лёгкость, с которой Кремль добился послевоенных успехов, может в конечном счёте привести его к гибели.

Россия по-прежнему остаётся страной, которая при малейшей возможности откусывает больше, чем способна прожевать.

Советский режим, как уже отмечалось, остаётся по существу русским режимом — таким, который русские ещё способны терпеть, но который, судя по всему, не способен вынести ни один другой народ на земле.

Однако здесь мы вступаем на опасную почву.

Мы приближаемся к тому, что принято называть принятием желаемого за действительное.

Поскольку подобное обвинение, вероятно, прозвучит ещё не раз — ведь главная цель этой книги состоит в том, чтобы показать: у врага отнюдь не глиняные ноги, однако он всё же не столь грозен, каким кажется, когда его гигантский силуэт возникает сквозь туман, окутывающий половину мира, — необходимо сделать небольшое отступление.

Если в нынешнем конфликте мы потерпим поражение, то в значительной мере причиной станет страх перед двумя затасканными выражениями.

Первое из них — «принятие желаемого за действительное».

Второе — «умиротворение агрессора».

Страх перед этими словами парализует наш разум.

Мы так боимся принять желаемое за действительное, что многие вообще перестали мыслить, опасаясь случайно подумать о чём-либо желательном.

Мы так боимся умиротворения, что почти забыли: основой всякого общества является согласие.

А согласие может означать любое сближение — постоянное или временное, основанное на убеждении или продиктованное выгодой, искреннее или скрывающее задние мысли.

Мы не вправе предписывать другим людям их мотивы.

Тем, кто утверждает, что Россия, например, не желает прочного соглашения, что она идёт на компромисс лишь для того, чтобы затем совершить новый скачок вперёд, что любое её соглашение является лишь тактическим манёвром, следует ответить: ну и что?

Кремль вполне может решить, что его нелепую конечную цель лучше всего приближать посредством разрядки, поддерживая в течение нескольких лет мир и доброжелательные отношения. Но что в таком случае является реальностью?

Сам мир или тень возможного будущего столкновения?

Что касается принятия желаемого за действительное, то это выражение постепенно начинает обозначать всякую мысль, направленную на достижение желаемой цели, то есть всякое целенаправленное мышление.

В условиях нынешнего конфликта, если Россия действительно столь сильна и едина, как принято считать; если её власть над государствами-сателлитами столь абсолютна, как принято считать; если она способна подчинить себе революционные движения Азии, Африки и Южной Америки, как принято считать; и если она действительно намерена в обозримом будущем установить физическое господство над всем миром, как принято считать, — тогда у нас не остаётся никакой надежды, кроме тотальной войны.

В подобной ситуации действительно нет места размышлениям.

Остаётся лишь слепое, судорожное усилие.

Возможно, именно это нам и следует делать.

Возможно, в одну прекрасную ночь нам следует сбросить атомные бомбы на русские города, разведя гигантский костёр, который на время избавит нас от страха перед темнотой, — пока огонь не погаснет и тьма не вернётся.

Такой взгляд имеет право на существование.

Но, по-моему, это плохой взгляд.

Поэтому единственный иной путь состоит в том, чтобы трезво оценить опасность.

Мы должны попытаться понять сильные и слабые стороны противника, а также его подлинные намерения и на этой основе разработать практический план действий.

Бессмысленно оценивать лишь силу врага, полностью игнорируя его слабости.

Но именно к этому нас постоянно толкает страх перед обвинением в принятии желаемого за действительное.

Точно так же страх перед умиротворением заставляет нас заранее отвергать всякую дипломатию и любые подробные переговоры, опасаясь, что сделка окажется невыгодной.

Деловые люди, насколько известно, стремятся извлечь максимум выгоды из каждого соглашения.

Ради этого они ведут переговоры, прекрасно понимая, что каждый с удовольствием разорил бы другого, представься ему такая возможность.

Но современные государственные деятели, которые, как полагают, дышат более чистым воздухом, дошли до того, что считают любую уступку смертным грехом.

Вернёмся к нашей теме.

Ленин, считавший себя столь же интернациональным, как спальный вагон международного поезда, внёс в марксизм именно русское начало.

Он был человеком центральной русской равнины и мыслил соответственно.

Пожалуй, западного либерала в коммунизме сильнее всего поражает его сокрушительный, разрушающий душу цинизм.

Именно об этот камень разбилось большинство западных коммунистов.

Особенно поражает то, что коммунистическая система никогда не бывает удовлетворена, пока не разложит собственных сторонников и не превратит их в бездумных исполнителей.

Иногда это принимают за окончательное доказательство того, что правители России вообще ни во что не верят и стремятся лишь удержать власть, то есть являются беспринципными гангстерами.

Как всё было бы просто, будь это действительно так.

Гангстеры уязвимы во многих отношениях.

Но правители России — нечто большее.

Цари и многие из их наиболее одарённых советников обращались со своими служащими точно так же, как Политбюро обращается со своими.

Однако цари не были самодержавными гангстерами, думающими исключительно о личной выгоде. Они страстно верили в величие и славу России и, вопреки всем свидетельствам, в её предназначение спасти мир.

Во имя этой веры они были готовы рисковать, и именно поэтому с ними было трудно иметь дело.

Но при этом они ни на мгновение не понимали, что их поразительная неспособность доверять подчинённым и подданным, пока те не будут развращены и приведены к покорности, и являлась главной причиной отсталости России и её неспособности осуществить их мечты.

Русский правитель всегда предпочитал продажного слугу честному и независимому.

Именно поэтому столь поразительное впечатление производит канадская «Синяя книга», посвящённая расследованию шпионской деятельности в Оттаве.

В ней советские чиновники по приказу Москвы сознательно развращают верных и идеалистически настроенных попутчиков.

Московскому агенту было недостаточно, чтобы некая мисс Х передавала ему государственные секреты Канады из искренней убеждённости в правоте советского дела.

Молодая женщина, искренне верящая во что-либо, опасна.

Она может изменить свои убеждения.

Поэтому единственно благоразумным считалось, даже ценой разбитого сердца и снижения её полезности, заставить её принять деньги на проезд из Оттавы в Монреаль и получить подписанную расписку.

После этого она принадлежала им навсегда.

Так и было сделано.

Точно так же в своё время поступали агенты царского правительства.

Атмосфера канадской «Синей книги», рассказ Игоря Гузенко о побеге из советского посольства и последующем разгроме его квартиры сотрудниками НКВД [в его квартиру ворвались сотрудники посольства, не все они были сотрудниками НКВД – прим.перев.], история госпожи Касенкиной о том, что произошло с ней после первого побега из советского консульства в Нью-Йорке [Касенкина первоначально ушла не из консульства, а из места, где находилась советская группа перед возвращением в СССР, и укрылась на ферме русской эмигрантской организации. Затем её увезли в советское консульство, откуда она уже выбралась, выпрыгнув из окна. – прим.перев.], — всё это атмосфера России XIX века.[«Синяя книга» — опубликованный правительством Канады доклад Королевской комиссии Келлока—Ташеро, расследовавшей деятельность советской разведывательной сети в Канаде после бегства Игоря Гузенко. Игорь Гузенко (1919–1982) — шифровальщик советского посольства в Оттаве, в сентябре 1945 года перешедший на сторону Канады и передавший властям документы о советском шпионаже; сотрудники посольства пытались

проникнуть в его квартиру и вернуть документы. Оксана Касенкина (1897–1960) — преподавательница советской школы в Нью-Йорке, пытавшаяся остаться в США; оказавшись в советском консульстве, 12 августа 1948 года она выпрыгнула из окна третьего этажа и получила тяжёлые травмы. Эти события стали громкими эпизодами начала холодной войны.]

Изменились лишь технические средства XX столетия, да новая идеология придала прежним методам ещё большую жестокость.

Беспощадно циничные сцены, описанные Джозефом Конрадом в романах «Тайный агент» и «Глазами Запада», ежедневно повторяются на наших глазах во всех столицах мира, в каждой деревне Советского Союза и его государств-сателлитов.[Джозеф Конрад (1857–1924) — английский писатель польского происхождения. Его романы «Тайный агент» и «Глазами Запада» посвящены революционному подполью, политическим провокациям, деятельности тайной полиции и нравственному разложению людей, вовлечённых в борьбу за власть.- прим.перев.]

Советник Микулин, задающий студенту Разумову мрачный и неотразимый вопрос: «Куда же?» — когда несчастный сообщает о намерении уехать; отвратительный господин Владимир, сочетающий полную неуклюжесть с абсолютной беспощадностью и наставляющий господина Верлока в искусстве бессмысленного разрушения, — подобные персонажи возникают повсюду, куда приходит коммунизм.[Советник Микулин — персонаж романа Джозефа Конрада «Глазами Запада», чиновник царской политической полиции, принуждающий студента Разумова стать тайным агентом. Господин Владимир — персонаж романа «Тайный агент», дипломат и организатор политической провокации, поручающий агенту Верлоку устроить взрыв Гринвичской обсерватории. Кранкшоу видит в них прообразы чиновников советской тайной полиции и организаторов политического террора.- прим.перев.]

Но это не коммунизм.

Это Россия.

Точнее, официальная Россия.

Подобно тому как цари уничтожали чувство собственного достоинства, от которого зависело само существование государства, советское правительство сознательно уничтожает дух коммунизма.

Оно боится духа коммунизма, как все русские правительства всегда боялись всякой живой и самостоятельной силы.

Мы видели, как это происходило в России.

Совсем недавно мы наблюдали то же самое в Восточной Европе.

Москва, например, не пыталась привлечь чехов к коммунизму, обращаясь к их лучшим чувствам.

Овладев ими, она стала взывать к самым низменным сторонам их натуры.

Москве не нужна армия воинствующих коммунистических идеалистов.

Идеалисты опасны.

Поэтому Москва использует их, пока они выполняют первоначальную работу и затягивают сеть, а затем объявляет американскими агентами и уничтожает.

Этот дух внёс в марксизм именно Ленин, а не Сталин.

Именно Ленин создал и теорию империализма, превратившую коммунизм в одну из самых отвратительных игр в мировой истории.

Это развитие идей Маркса — или отступление от них, о котором уже шла речь, — является ключом ко всему поведению Советского Союза.

Оно отражает также глубоко русский взгляд на мировое положение.

Этот взгляд естественным образом предполагает использование характерно русских методов, которые вследствие этого становятся методами коммунистическими.

Тем, кто считает коммунистическую технику проникновения и разложения чем-то новым, чрезвычайно полезно было бы пройти краткий курс русской истории.

Для начала вполне подошло бы изучение отношений между Россией, Китаем и Японией в период с 1850 по 1914 год.

Так, в 1912 году, когда Германия пыталась убедить Россию содействовать укреплению Китая против Японии, в то время как Китай явно распадался, русский министр иностранных дел Сазонов мог ответить:

Германия заинтересована в покупательной способности Китая и опасается его распада. Россия же, напротив, как государство, граничащее с Китаем и имеющее с ним длинную неукреплённую границу, не может желать усиления своего соседа. Поэтому она может спокойно наблюдать за гибелью современного Китая.

Точно так же действовала бы и Советская Россия — разумеется, до того момента, когда ей понадобилось укрепить коммунистический Китай как союзника против Америки.

Другой русский дипломат, Крупенский, принадлежал к числу энергичных и склонных к интригам посланников, которые трудились во славу императорской России с тем же усердием, с каким коммунистический представитель позднее стал бы трудиться во славу Сталина.

Докладывая о положении, возникшем в связи с предложением предоставить Китаю международный заём для восстановления страны, он писал:

Мы должны позаботиться о том, чтобы Китай как можно дольше оставался в нынешнем беспомощном состоянии. Заём либо не должен состояться вообще, либо его следует связать с таким иностранным контролем и надзором, которые вызовут возмущение народа. Принятие подобных условий центральным правительством приведёт к волнениям в провинциях и, возможно, даже к восстанию на юге Китая.

Примерно так же господин Молотов, должно быть, говорил со своими кремлёвскими коллегами об угрозе плана Маршалла, призванного стабилизировать Западную Европу.

Ещё один пример.

В 1911 году вся русская политика в Китае оказалась под угрозой из-за создания международного консорциума держав, ещё одного средства укрепления Китая.

Тогда Россия решила вступить в этот консорциум исключительно для того, чтобы изнутри противодействовать любым действиям, не отвечавшим её интересам, а при необходимости полностью парализовать его работу.

И этот приём звучит до боли знакомо.

Когда Китай разрешил России разместить вооружённую охрану на Китайско-Восточной железной дороге и сначала передал ей в аренду полосу земли вдоль путей, а затем позволил разместить охрану по всей их длине, следующим шагом стало строительство в русском анклав города Харбина.

Вскоре русские чиновники, выдававшие себя за служащих железной дороги, фактически управляли всей Маньчжурией, опираясь на тридцать тысяч человек железнодорожной полиции.

Число таких примеров можно было бы значительно умножить.

Сходство Ленина и Сталина с царями проявляется не только в методах.

Сходны и побуждения.

Императорская Россия проникала на Дальний Восток вовсе не из экономических соображений.

Она презирала то значение, которое так называемые торговые нации придавали рынкам и коммерческому процветанию.

Ещё в XVI веке Иван Грозный с горечью упрекал английскую королеву Елизавету, с которой стремился заключить союз, в том, что она думает лишь о своих купцах и тем самым показывает, что недостойна быть королевой.

Точно так же и более поздние цари с мрачным отвращением отвергали коммерческие устремления Запада и возводили уже упомянутый хаос деятельных побуждений в мистический культ чистой славы.

Позднее нам ещё предстоит подробно рассмотреть эту чрезвычайно важную черту русского отношения к империализму.

Пока же, возможно, не будет преувеличением предположить, что страстность, с которой русские большевики приняли марксистскую идею неизбежной гибели общества, основанного на неограниченной торговле, во многом повторяет высокомерное презрение Ивана, Бориса и Фёдора к той движущей силе, которая отправляла моряков эпохи Тюдоров на поиски Северо-Западного прохода и Китая.

Наконец, теоретические труды Ленина, а также вся тактика и стратегия большевизма глубоко окрашены русскими привычками мышления.

Безусловность принципа «всё или ничего», которую Маркс столь презирал в царских государственных деятелях, а также в малоизвестных «русских товарищах» своего времени, легла в основу цинизма ленинской партийной линии.

Вся техника сталинской политики уже содержится в следующих словах Ленина.

Если изменить в них лишь отдельные названия, они вполне могли бы принадлежать любому русскому министру иностранных дел XIX века:

Победить могущественного врага можно лишь напряжением всех сил, самым тщательным, внимательным, осторожным и искусным использованием всякой, даже малейшей, трещины между буржуазией различных стран и каждой, даже ничтожной, возможности приобрести массового союзника, пусть даже временного, неустойчивого, колеблющегося, условного и ненадёжного.

Вся сталинская техника проникновения великолепно отражена и в следующих указаниях, которые Троцкий при Ленине направил коммунистической агитационной группе, отправлявшейся на Украину для борьбы с сепаратистским влиянием атамана Петлюры во время украинской борьбы за независимость, на некоторое время увенчавшейся успехом в первые годы революции.

Эти указания проникнуты тем же духом, что и царское проникновение в Монголию и Маньчжурию: Те доводы, которые мы здесь, в России, обсуждаем совершенно открыто, на Украине можно произносить лишь шёпотом. Поэтому вы обязаны соблюдать следующие правила:

1. Не навязывайте коммунизм украинскому крестьянству, пока наша власть на Украине не будет укреплена.
2. Приступайте к осторожному введению коммунизма в бывших помещичьих имениях под видом кооперативных объединений.
3. Всеми силами старайтесь внушить людям, что Россия на самом деле вовсе не коммунистическая страна.
4. Чтобы выбить почву из-под ног Петлюры, настаивайте на том, что Россия полностью поддерживает независимость Украины при условии, что та согласится создать советское правительство.

5. Только глупец станет кричать на каждом углу, что советская власть воюет с Петлюрой. Иногда будет даже полезно распустить слух, будто мы на самом деле состоим с Петлюрой в союзе, по крайней мере до окончательного уничтожения Деникина.

И так далее.

Достаточно было бы изменить здесь всего несколько слов, чтобы указания ближайшего соратника Ленина стали почти точной копией инструкций, которые Георгий Маленков, вероятно, выдавал будущим руководителям восточноевропейских марионеточных правительств, ожидавшим в Москве в 1945 году приказа перейти в наступление.

Подобным образом царские дипломаты в 1912 году отделили от Китая Внешнюю Монголию.

«Я понимаю, — писал неутомимый Крупенский из Пекина в 1912 году, — что мы не можем открыто выступать против желаний дружественных нам Франции и Англии. Поэтому я никогда не говорю с коллегами совершенно откровенно, чтобы не раскрыть поставленной перед собой задачи — помешать созданию Китая, организованного по европейскому или японскому образцу».

Глава 5. Деспотизм и русский народ

Можно возразить, что грубый макиавеллизм, отличавший политику как царей, так и Ленина, вовсе не был исключительно русской чертой. Откровенность нигде в мире не считается достоинством дипломатии. И хотя царское министерство иностранных дел показало Ленину и Сталину, как возвести ложь в принцип, можно сказать, что оно лишь довело до логического завершения общепринятую дипломатическую практику.

Если согласиться с этим возражением, то большая часть доводов в пользу преемственности между царской и советской политикой утрачивает силу. Тогда нам придётся признать одно из двух: либо обман Молотова не имеет ничего общего с обманом Горчакова, либо и тот и другой ничем по существу не отличаются от уловок, к которым прибегают министры иностранных дел всех стран.

Однако согласиться с этим нельзя.

Между русско-советским идеалом доведенного до крайности двуличия и непоследовательной, применяемой от случая к случаю неискренностью Запада существует принципиальное различие. Оно отражает глубокую разницу в отношении к жизни — причём не только государственных деятелей, но и самих народов.

Поэтому, чтобы правильно оценить поступки русских государственных деятелей, которые действуют не в пустоте, нам необходимо обратиться к народу, из среды которого они выходят.

Я уже говорил о глубокой органической связи между советским режимом и народом России. Под Россией здесь подразумевается прежде всего Великороссия — подлинная властительница всех республик Советского Союза. Теперь эту мысль следует развить подробнее.

Но сначала необходимо ещё раз подчеркнуть: указывая на русские черты большевизма и находя царские прообразы тех методов, которые мы привыкли считать сугубо коммунистическими, я вовсе не хочу сказать, что советский режим является неизбежным выражением характера русского народа или что весь народ горячо поддерживает этот режим.

Далее в книге я буду доказывать скорее обратное.

Более того, русская природа советского режима, вероятно, является источником его слабости даже в большей степени, чем источником силы.

Тем не менее естественный русский образ жизни глубоко отличается от естественного англосаксонского образа жизни.

С русской стороны это различие порой невольно проявляется в таких крайних формах, как сталинская диктатура. Но оно же порождает и не менее крайние проявления благородства.

Невозможно правильно оценить противника — силу и уязвимость сталинского режима, — не соотнося этот режим с народом, который сделал его возможным.

Именно поэтому многие книги, обвиняющие сталинский режим на языке, понятном западному читателю, — такие как «Я выбрал свободу» Кравченко или «Йог и комиссар» Кёстлера, — вероятно, принесли больше вреда, чем пользы.

В них говорится одна лишь правда.

Но из этой правды исключена Россия.

Одна из главных причин нашей растерянности в нынешнем конфликте — разумеется, невежество. Однако это не то невежество, которое можно устранить, съездив в Россию, увидев всё собственными глазами и познакомившись с русскими людьми.

Проблема гораздо глубже.

В данном случае важнее всего понять отношение русских к жизни вообще, а в особенности — к обществу и государству.

Наше невежество усугубляется вполне человеческой привычкой судить о других народах по их учреждениям, вместо того чтобы рассматривать учреждения через призму народа, который их создал.

К этому добавляется другое устойчивое заблуждение. Несмотря на постоянные доказательства обратного, мы продолжаем верить, будто одно и то же слово или его буквальный перевод во всех странах означает одно и то же.

В отношении России эта двойная ошибка действует с особенной силой, поскольку большинство из нас по тем или иным причинам совершенно не знает русского народа.

Поэтому мы вынуждены судить о русских по их учреждениям, а об их учреждениях — по аналогии с нашими.

Нет ничего опаснее подобного подхода.

Речь идёт не только о таких отвлечённых понятиях, как «демократия» и «свобода». Недостаточно, обнаружив, что слово «демократия» в устах господина Вышинского означает нечто совсем иное, чем в устах господина Уоррена Остина, просто сказать, будто русский намеренно искажает смысл этого слова.

Иногда он действительно его искажает.

А иногда — нет.

Я хочу сказать, что даже простые, вполне конкретные слова способны породить такое же глубокое взаимное непонимание, как и отвлечённые понятия.

У британского солдата слово «транспорт» вызывает образ целой колонны трёхтонных грузовиков — крепких, безупречно исправных и одинаковых.

Произнесите то же слово перед русским — и мысленным взором он увидит длинную, растянувшуюся вереницу крестьянских телег, которые тащат худые лохматые лошадёнки. Да и сама телега представляет собой непрочное сооружение, похожее на большое деревянное корыто, поставленное на кое-как приделанные колёса.

Во времена первых пятилеток слово «вредитель» вызывало у нас немало тревог.

Но следовало учитывать, что средний русский завод того времени вовсе не был заводом в нашем понимании, а скорее напоминал импровизированную мастерскую.

Даже на новых, блестящих и современных производственных линиях работали главным образом люди, которых в Великобритании никогда не подпустили бы к станку.

Атмосферу такого предприятия легче всего представить, если мысленно заселить механическую мастерскую крестьянами из произведений Чехова, Тургенева или Толстого.

Детали терялись. Станки устанавливали без надёжного фундамента, и при запуске они опрокидывались. Целые ряды машин месяцами простаивали из-за отсутствия элементарного технического обслуживания — как, впрочем, случается и поныне.

Автомобили собирали без распределителей зажигания, потому что запас этих деталей иссяк, а останавливать производство было запрещено.

Положить конец подобному можно было лишь одним способом: объявить всё это саботажем или вредительством и карать с ужасающей суровостью.

И в известном смысле это действительно было вредительством.

Небрежность, которую обычный русский встретил бы пожатием плеч, на Западе называли бы преступной халатностью.

То обстоятельство, что обвинение во вредительстве без разбора предъявляли любому человеку, которого партия или полиция желали устранить, нисколько не отменяло другого факта: преступная халатность, или вредительство, порождённая беспечностью и ленью русского крестьянина, оказавшегося на заводе, была совершенно реальной и встречалась значительно чаще, чем политически мотивированный саботаж.

Советское правительство приписывало политические мотивы всякой преступной халатности.

Отчасти это объяснялось тем, что в России политическое преступление — преступление против государства или общественной собственности — всегда считалось более тяжким, чем преступление против отдельного человека, например убийство.

Отчасти же таким способом народ пытались сделать политически сознательным — разумеется, в специфически русском смысле.

Столкнувшись с многочисленными свидетельствами суровости и жестокости жизни в Советском Союзе, но не испытывая неприязни к самому русскому народу, мы склонны приписывать всё, что нам не нравится, существующему политическому режиму.

Редко кто задаётся вопросом: нет ли чего-то исконно русского в тех пороках, которые сегодня мы вменяем Кремлю, а ещё совсем недавно вменяли царям?

Ещё реже спрашивают, кажутся ли самим русским величайшие несправедливости, возмущающие нас, несправедливостями вообще.

Казалось бы, это совершенно естественные вопросы.

Вероятно, мы редко задаём их потому, что нам почти невозможно представить себе народ, который не считал бы наше понимание личной свободы высшей вершиной человеческого счастья.

Именно здесь, как мне кажется, мы и ошибаемся.

В отношении русских особенно легко впасть в такое заблуждение.

По русской литературе XIX века мы знаем, что русским свойственна исключительная независимость ума и духа.

Мы знаем, что они необычайно восприимчивы и открыты самым различным влияниям.

Мы знаем также, что русская история озарена вспышками больших и малых крестьянских восстаний.

Мы знаем, что с крепостными крестьянами обращались жестоко, что их держали в повиновении и лишали всех человеческих прав.

Мы знаем, что революционно настроенные представители русской интеллигенции протестовали против этого угнетения и отправлялись за это в ссылку.

Наконец, мы знаем, что в конечном счёте успешная революция смела царей.

Зная всё это, мы вполне естественно заключаем, что русский народ восстал и в конце концов утопил в крови именно то, против чего на его месте восстали бы мы сами: принцип самодержавия и все его проявления.

Но, по-моему, этот вывод ошибочен.

Русский народ восстал вовсе не против какого-либо политического принципа.

Как и много раз прежде, он поднялся против невыносимых условий жизни.

Но его ярость не была направлена против самодержавия как такового.

И уж тем более она не была направлена против самой царской власти.

Избавиться от царя хотели новые коммерческие магнаты, которым он мешал развиваться.

Что же касается народа, то его гнев был обращён против продажной бюрократии и выродившегося дворянства, сделавших его жизнь невыносимой.

Народ требовал облегчить условия его существования, а не уничтожить определённый политический принцип.

На большинство вопросов о русских странностях существует привычный ответ: русские — отсталый народ.

Но почему они так отстали?

Их страна огромна и богата — это самая большая и одна из богатейших стран мира.

Почему они не смогли освоить её, хотя в XVIII веке Россия была, несомненно, гораздо менее отсталой, чем тогдашняя Северная Америка?

На это, разумеется, существует другой привычный ответ: Россией управлял самодержец через продажную бюрократию, а до 1861 года подавляющее большинство её жителей составляли крепостные, фактически рабы.

Всё это верно.

Но что это объясняет?

Почему Россией управлял самодержец?

Почему её бюрократия была продажной?

Почему дворянство оказалось столь бездеятельным и выродившимся?

Почему девять десятых населения были крепостными, причём в 1800 году их положение было гораздо ближе к рабству, чем в 1600-м?

Почему в то время, когда остальная Европа избавлялась от последних остатков феодального строя, Россия прижимала его к себе всё крепче?

Правильно ли считать всё это причиной русской отсталости?

Не вернее ли сказать, что это было следствием отсталости?

Но тогда снова возникает вопрос: почему Россия была отсталой?

И вообще, что именно мы понимаем под отсталостью?

Стоит начать непредвзято размышлять об истории России или о современном советском образе жизни — вещах неразрывно связанных, — и подобные вопросы возникают один за другим.

Ответить на них здесь во всех подробностях невозможно.

Но полезно хотя бы поставить их и дать мысли поработать над ними.

Потому что именно к этим вопросам рано или поздно приходит всякий, кто достаточно долго и последовательно размышляет о поведении господ Молотова, Вышинского и Малика.

Это не риторические вопросы.

Ответив на них, мы, возможно, найдём ответ и на главный вопрос: в чём состоит основополагающее различие между русским и западноевропейским отношением к жизни и обществу?

Ответы необходимы, потому что невозможно поверить, будто до появления пулемётов огромный народ крепостных крестьян, рассеянный по самой обширной территории в мире, можно было удерживать в повиновении силами одного верховного самодержца, продажной бюрократии и праздного дворянства, если сами крестьяне в каком-то смысле не соглашались оставаться в подчинении.

Ни один самодержец не смог бы удерживать британский народ во всё более глубоком рабстве.

Англичане этого не потерпели бы.

Следовательно, русский народ это терпел.

Стоит помнить и о том, что отмена крепостного права в 1861 году не была уступкой массовому народному движению. Сами крепостные почти ничего не сделали для собственного освобождения.

По тем или иным причинам свободу им, как обычно в России, даровали указом сверху.

В 1805 году русский царь выступил против предложения одеть крепостных в особую одежду, заявив: «Они начнут узнавать друг друга и поймут, как их много».

В то время из сорока шести миллионов жителей России тридцать пять миллионов были крепостными.

Однако, когда освобождение наконец состоялось, сами крепостные подавали прошения против него.

«Мы ваши, — говорили они помещикам, — но земля наша. Оставьте всё как есть».

Разумеется, народные движения в России существовали.

Русская история ими наполнена. Наиболее знаменитые из них — восстание Стеньки Разина в XVII веке и восстание Пугачёва в XVIII — поначалу даже добились успеха.

Но вскоре они бесславно угасли, потому что не имели ни идеи, ни веры.

Их историческое значение было не больше, чем у бесчисленных поджогов помещичьих усадеб доведёнными до отчаяния крестьянами.

Это были отчаянные бунты угнетённых людей, которые больше не могли переносить непосредственные страдания.

Но политическое восстание — нечто совсем иное.

Даже восстание, свергнувшее Романовых и открывшее путь нынешнему режиму, по существу не слишком отличалось от прежних русских бунтов, разве что на этот раз его подталкивали предприниматели и дворяне-реформаторы.

Для народных масс оно не несло никакой настоящей идеи.

Идею восемь месяцев спустя принёс Ленин.

Его Октябрьская революция была политической революцией, вооружённой верой. Но разыграна она была внутри обычного русского бунта, столь же лишённого осмысленной цели, как паническое бегство стада, обезумевшего от укусов овода.

В другом месте я уже пытался объяснить, почему так происходило.

Но сейчас нам необходимо определить, что представляют собой русские, а не каким образом они такими стали.

Пока достаточно сказать, что общество царской России представляло собой самодержавие, основанное на крепостном праве.

Крепостные горько жаловались, ненавидели правительство и всё, что с ним было связано, считали своим первым долгом обманывать государство при каждом удобном случае — и, между прочим, развили особый язык двусмысленности, который нынешний режим у них перенял и довёл до совершенства.

Однако при всём этом они продолжали считать царя стоящим выше правительства и всего человечества.

Они не только не ценили ту индивидуальную свободу, которую мы считаем неременным условием человеческого существования, но, вероятно, отнеслись бы к ней с презрением, предложи им её кто-нибудь.

Эти люди были непосредственными предками, часто дедами, а иногда и отцами огромной части современного населения России, в том числе некоторых членов высших кремлёвских органов.

Как уже говорилось, нам необходимо понять, почему это было так.

Необходимо также выяснить, как подобное отношение — его можно было бы назвать аполитичным, но это означало бы заранее подменить ответ; можно было бы назвать рабским, но это было бы

неверно — согласуется с хорошо известными фактами: независимостью русского ума, смелостью русского духа, сопротивлением всякой власти и тягой к анархии.

Если нам удастся раскрыть тайну этого соединения, которое совершается в душе каждого русского уже в силу того, что он русский, мы, вероятно, приблизимся и к ответу на вопрос «почему?».

Ключевое выражение здесь, по-моему, — «русская тяга к анархии».

Анархия абсолютна.

Это абсолютная свобода.

А русский человек склонен мыслить абсолютными категориями.

Если ему недоступна анархия, то есть полная свобода, всё остальное для него уже не имеет большого значения.

Но анархия невозможна, и русский понимает это не хуже нас.

Поэтому он умывает руки, отказывается от самой задачи достижения свободы и вместо неё принимает самодержавие.

Мы же, не будучи по темпераменту абсолютистами, довольствуемся наибольшей свободой, доступной в существующих общественных условиях, которые меняются от века к веку.

Мы называем это компромиссом, умением жить, здравым смыслом или чувством меры.

Русский назвал бы это предательством — предательством самого себя.

Разумеется, это сильное упрощение.

Но, по-моему, оно очень близко подводит нас к самой сердцевине русской натуры, которую я не встречал объяснённой каким-либо иным способом.

Существуют два очевидных факта, кажущихся взаимоисключающими — и действительно противоречащих друг другу, — но тем не менее сосуществующих: независимость, доходящая до анархии, и лёгкое принятие самодержавия.

В Смутное время, в начале XVII века, когда поляки заняли Москву и предложили московским боярам объединение, они пообещали также освободить их от тирании самодержавного царя.

Но бояре с мрачным упрямством лесных людей, словно господин Молотов, отвергающий очередной соблазн, ответили, что польская свобода кажется им скорее распушенностью.

Во всяком случае, чем жить в обществе, где один брат может возвыситься над другим, они предпочитают на равных подчиняться воле верховного повелителя:

Если царь поступает несправедливо, такова его воля. Лучше претерпеть обиду от царя, чем от собственного брата, ибо царь — общий повелитель над всеми нами.

А ведь совсем недавно те же бояре жестоко пострадали от Ивана Грозного.

Это было полной противоположностью тому, что произошло двумя веками ранее между английским королём Иоанном и его баронами в Раннимиде.

Бояре прекрасно знали, на что способно самодержавие.

Но всё же предпочли именно его и после изгнания поляков посадили над собой династию Романовых.

Или возьмём другой пример — крестьянство.

Когда в первые годы правления Екатерины Великой Пугачёв поднял крестьян на восстание, ему удалось сделать это лишь потому, что он выдавал себя за умершего царя Петра, якобы вернувшегося из изгнания, чтобы бороться за собственные права и права русского народа против помещиков.

Подобных примеров можно привести множество.

Но достаточно процитировать слова Леонтьева:

Порой я мечтаю о том, что русский царь возглавит социалистическое движение и организует его так же, как Константин организовал христианство.

Русские чрезвычайно восприимчивы.

Они открыты всякому иностранному влиянию.

Русская нация состоит из людей, каждый из которых непоколебимо уверен, что ничем не хуже любого другого, и столь же твёрдо убеждён, что любой другой человек ничем не хуже его.

Русский считает глубочайшим унижением, когда свобода действий одного человека каким-либо образом ограничивается ради пользы другого.

Прежде всего он верит, что главная обязанность человека — оставаться верным самому себе, по крайней мере в глубине души.

Компромисс он воспринимает не как проявление силы, а как размывание личности, как предательство самого себя.

В то же время он чрезвычайно восприимчив ко всевозможным внешним влияниям.

Иными словами, по темпераменту он склонен к эксперименту и внутренне свободен так, как на Западе свободным и склонным к эксперименту бывает, пожалуй, только художник.

Представим себе общество, состоящее из таких людей.

Перед лицом жестокой и враждебной вселенной они понимают необходимость объединиться в устойчивое сообщество, но при этом отказываются признавать какую-либо иерархию между собой. Очевидно, что без чрезвычайно жёсткой и всеми признаваемой власти сверху такое общество немедленно погрузится в анархию.

Но русские слишком хорошо знают жизнь, чтобы верить, будто государство способно существовать в состоянии анархии, как бы сильно они ни мечтали о ней.

Поэтому они принимают жёсткую власть сверху как необходимое зло.

Отсюда царское самодержавие.

Отсюда кремлёвская диктатура.

Отсюда же страстная потребность в ортодоксии — любой ортодоксии, которая, будучи навязана сверху и как бы извне общества, удержит народ вместе.

Сначала это была Греческая церковь с её особым вниманием к обряду.

Теперь — Коммунистическая партия с её жёсткой системой догм.

Отсюда же формализм столь многих русских учреждений.

Отсюда, наконец, бесконечные протоколы господ Молотова и Вышинского.

Всё это, как мне представляется, — скованность народа, по природе слишком текучего и потому вынужденного окружать себя железными обручами, чтобы не распасться окончательно.

По-видимому, всё это вырастает из природного индивидуализма, на фоне которого наш хваленый западный индивидуализм выглядит почти отказом от личности.

В известной мере так оно и есть.

Ведь нормальная работа любого учреждения в Великобритании или Америке основана на добровольном приспособлении крайних личных взглядов к взглядам других людей.

Русский на это не согласен.

Он скорее позволит верховной и недостижимой власти принудить себя, чем хотя бы в малейшей степени поступится собственной индивидуальностью или откажется от притязания на равенство со всеми людьми ради добровольного участия в том, что мы называем демократическим обществом, основанным на взаимных уступках.

Для него существует либо только брать, либо только отдавать; либо полное господство, либо полное подчинение.

Поэтому он подчиняется.

Так продолжается уже давно.

В древней общине и даже в средневековом вольном городе русский создавал равноправное общество, во главе которого стоял свободно избранный старейшина, становившийся на время своего правления диктатором.

Когда же речь заходила о более крупных формах общественного устройства, например о всей стране, русский по-прежнему мог считать всех людей равными — перед Богом и царём.

Одно он отдавал Богу, другое — царю.

Иногда это было всё, чем он располагал.

Но по существу это оставалось вынужденным подчинением непреодолимой силе, внутренне принимаемым с протестом.

Главное заключалось в том, что русский сохранял свою душу.

Он не шёл на уступки тому, во что не верил.

Мы же с нашими бесконечными уступками, со всем существованием, основанным на компромиссах, казались бы ему людьми, заключившими сделку с дьяволом.

«Русским, — говорил профессор Милюков, — недостаёт цемента лицемерия».

Мне кажется, он имел в виду именно это.

Так можно выразить эту мысль.

Другой способ — сказать, что русским недостаёт способности к компромиссу, к взаимным уступкам.

Не обладая ею, они вынуждены удерживать общество вместе — или держать его в повиновении — посредством самодержавного давления.

У такого устройства есть определённые преимущества.

Беда лишь в том, что оно не учитывает воздействия абсолютной власти как на тех, кто ею обладает, так и на тех, кто ей подчиняется.

Если принять сказанное, становится очевидной бессмысленность утверждения, будто Россия отстала потому, что её народ столетиями находился под гнётом абсолютной тирании.

Столь же бессмысленно видеть в победе Ленина случайный удар молнии, никак не связанный с природой России.

Всё это является частью исторического фона, на котором необходимо рассматривать советский режим.

Это не означает, что народ будет терпеть его вечно.

Русские свергли царей, и, как мы увидим далее, для множества людей нынешний режим уже перешёл все допустимые границы.

Но сказанного достаточно, чтобы понять, насколько опасно приписывать русскому народу наш собственный опыт и наши чувства.

Как бы глубоко русский народ в целом ни ненавидел отдельные стороны существующего режима, грубо говоря, они сами напросились на такой режим.

Более того, те стороны режима, которые сильнее всего возмущают самих русских, вовсе не обязательно совпадают с теми, которые больше всего возмущают нас на Западе.

Наконец, сама природа их неприязни к режиму во многом отличается от нашей неприязни к нему, наблюдаемому издали.

Приведём пример.

Большинство русских в принципе не любит тайную полицию.

Но эта неприязнь вовсе не означает ужаса перед самой мыслью о существовании тайной полиции.

Русские относятся к ней примерно так же, как мы в Англии относимся к подоходному налогу: как к прискорбному, но необходимому злу.

Им трудно, если не невозможно, представить общество без тайной полиции.

По-настоящему они возмущаются лишь тогда, когда полиция переходит всякие границы — даже по русским меркам.

С другой стороны, объединение мелких крестьянских хозяйств в колхозы, которое нам могло бы показаться вполне разумной идеей, встретило со стороны русского крестьянина такую ожесточённую ненависть, какую мы приберегли бы для самых страшных проявлений разнузданной тирании.

Глава 6 Традиция экспансии

Своеобразный абсолютизм русского характера, о котором мы уже упоминали, отсутствие привычки к компромиссу, чувства меры или того, что мы называем здравым смыслом, естественным образом порождает такое состояние ума, при котором возможны лишь две формы поведения: полное подчинение или полное господство.

Джеффри Горер чрезвычайно подробно развивает эту мысль в своём увлекательном исследовании характера великороссов. В духе фрейдистской антропологии он связывает эту особенность с русским обычаем туго пеленать младенцев и со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Не будучи профессиональным антропологом, я скорее предположил бы, что сам обычай тугого пеленания возник из глубоко укоренённых черт русского характера, сформировавшихся под воздействием иных причин. Но как бы то ни было, такой склад мышления действительно существует. И он имеет самое непосредственное отношение к одной из сторон нынешней проблемы — к природе русской экспансии.

Как и двуличие русских государственных деятелей, русская экспансия по своей природе отличается от экспансии других государств.

Россия расширяет свои владения с момента возникновения Московского государства в XIV веке. Первая мировая война и революция на время отбросили её назад. Однако Сталин уже вернул почти все территории прежней империи, за одним-двумя пока ещё не устранёнными исключениями, вроде Финляндии, и добавил к ним новые приобретения. В результате Советская империя стала больше, чем когда-либо была империя царская.

Кроме того, влияние Советского Союза за пределами собственных границ значительно превосходит влияние, которым располагали цари.

Царская Россия к тому же была окружена великими державами — Пруссией, Австрией и Японией. Сталин подобными ограничениями не связан.

Однако утверждение, что Россия традиционно является экспансионистской державой, вовсе не означает, что она воинственна. Это различие имеет первостепенное значение.

Здесь мы сталкиваемся ещё с одним современным заблуждением. Возможно, неверно истолковав уроки Германии и Италии Муссолини, мы привыкли отождествлять экспансионистскую политику с воинственным духом.

Между тем один из многочисленных русских парадоксов состоит в том, что самая склонная к расширению держава в мире одновременно является одной из наименее воинственных.

И дело не в том, что Россия испытывала или когда-либо испытывает нравственные сомнения перед началом войны. Таких сомнений у неё нет.

Просто она не любит воевать.

В самом общем виде традиционное стремление России к расширению можно разделить на три составляющие: стратегическую, экономическую и миссионерскую, или мессианскую.

Все три возникли задолго до революции — именно в таком порядке.

Теперь к ним добавилась четвёртая составляющая — всемирно-революционная. На первый взгляд это нечто совершенно новое, однако далее мы увидим, что в действительности она представляет собой лишь одно из проявлений прежней мессианской идеи.

Стратегическую сторону русской экспансии понять нетрудно, хотя поначалу может показаться странным, что государство, владеющее большей территорией, чем любое другое, и не имеющее достаточно населения для её заселения и освоения, продолжает стремиться к новым землям.

Однако этот вопрос основан на ложном предположении, будто Россия всегда была огромным государством. В действительности ещё шесть столетий назад она была совсем небольшой.

Завоевание великого евразийского пространства — от Буга до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря — завершилось сравнительно недавно.

Русское государство, наследовавшее Московскому княжеству, начинало весьма скромно: с небольшой и чрезвычайно уязвимой территории вокруг верховьев Волги.

Оно возникло в борьбе с господствовавшими над ним татарами и ради самого своего выживания должно было непрерывно расширяться.

Сначала Москва поглощала соперничающие русские княжества. Затем восстала против Золотой Орды, державшей русских в подчинении два с половиной столетия. После этого начала оттеснять наступавшие с запада и юга народы — шведов, литовцев, тевтонских рыцарей, поляков и турок.

Театром этой борьбы служила бесконечная равнина, не имевшая естественных преград для вторжения.

Эту равнину необходимо было заполнить.

Именно в ходе этого долгого процесса родился своеобразный русский способ защищаться посредством наступления.

Можно сказать, что самой душой старой России была экспансия.

Русские двигались по равнине так же, как моряки эпохи Тюдоров исследовали океаны.

Трудно было понять, где следует остановиться.

Если бы сами москвиты не двинулись из своего центра в глубину равнины, это сделали бы их соседи.

И с тех пор равнина неизменно оставалась источником опасности — вплоть до наших дней, когда немецкие танковые силы захватили западные пространства России.

Проблема, постоянно стоявшая перед русскими, во многом напоминала ту, с которой столкнулась Восьмая армия в Западной пустыне: невозможно было удержать Бенгази, не контролируя пустыню на тысячу миль в обе стороны. Чтобы в конечном счёте обезопасить Каир, необходимо было овладеть Триполи и всей лежащей между ними территорией.

Так русские пришли во Владивосток, Самарканд и на Камчатку, к Белому и Балтийскому морям, на Кавказ и в Крым.

Со временем то, что первоначально диктовалось суровой необходимостью, превратилось в своего рода бессознательный жизненный принцип.

Россия разучилась останавливаться.

Она даже перешла Берингов пролив и проникла на Аляску, не сразу поняв, что именно совершила.

Затем, поразмыслив и внезапно осознав, что удержать Аляску можно лишь продолжив экспансию через весь Североамериканский континент, Россия продала эту территорию и отступила за море.

Продвижение на запад оказалось менее успешным.

Здесь Россия встретила организованное сопротивление более развитых культур и в конце концов остановилась.

Перед лицом организованного сопротивления русские останавливались всегда.

Дело не просто в том, что они боятся сражаться. Внезапное столкновение с прочной стеной словно пробуждает их и заставляет посмотреть, куда они идут.

Как будто до этого они двигались во сне.

Их экспансия, по-видимому, подчиняется простому закону, о котором они не задумываются до тех пор, пока он не приводит их к серьёзным затруднениям.

Это естественная привычка к бесконечному расширению по линии наименьшего сопротивления, порождённая вынужденной заботой о безопасности, которая за столетия превратилась в навязчивую идею.

Образ лунатика здесь, пожалуй, особенно уместен.

Как мы вскоре увидим, русская экспансия происходила почти вопреки желанию самих русских и в постоянной борьбе с глубокой внутренней тягой к сжатию и замыканию в себе.

Порой этот внутренний конфликт проявлялся настолько отчётливо, что можно без большого преувеличения сказать: когда очередное наступательное движение России встречало непреодолимое препятствие, русские отступали и погружались в бездействие почти с облегчённым вздохом.

Полная покорность сменяла полное высокомерие.

Экономическая сторона русской экспансии имеет более обычные истоки и причины.

В прошлом она заключалась главным образом в стремлении получить выход к морю. Позднее к этому добавилось желание обеспечить себе определённые морские пути и подчинить российской экономике природные ресурсы, находившиеся за пределами страны.

Сегодня вопрос о выходе к морю и сохранении однажды приобретённых морских путей может показаться не столь существенным.

Однако он имеет прямое отношение к нашей теме.

Именно поведение царей в борьбе за эти цели — прежде всего за свободу действий на Чёрном море и в его выходе, через Дарданеллы, — не только породило образ России как нависшей над Западом угрозы, но и стало школой особой русской дипломатической техники.

Третья составляющая традиционной русской экспансии — миссионерская, или мессианская. Она полна внутренних противоречий.

На протяжении столетий императорская Россия развивала почти мистическое чувство собственного нравственного превосходства, а позднее — сознание особой исторической миссии.

Истоки этого чувства восходят ко времени, когда Россия была отделена от Запада преградой, почти столь же непроницаемой, как железный занавес, который сегодня Советский Союз опустил перед Западом.

Пока Западная Европа, выйдя из Средневековья, создавала новую цивилизацию, русские были отрезаны от новых веяний татарским господством и тем барьером, который западные соседи Московии выстроили против татар.

Когда в 1482 году татарское владычество наконец было свергнуто, русские обнаружили, что они и их западные соседи уже долгое время развивались совершенно различными путями.

Различие особенно ярко проявлялось в религии: русское христианство, пришедшее из Византии, отвергалось католическим Западом.

Сначала русские не пытались разрушить этот барьер.

Напротив, они гордились своей обособленностью и исключительностью. Это прекрасно соответствовало новой идее Москвы как Третьего Рима, возникшей после падения Константинополя под ударами турок.

В глазах русских Москва стала истинной наследницей христианского руководства и единственной хранилищем подлинной христианской веры.

Я уже говорил о глубокой тяге к замыканию вокруг неприкосновенного центра, которая уравнивает русскую склонность к расширению.

Именно здесь заключено ядро русской двойственности.

Мессианская тенденция может проявляться двумя прямо противоположными способами.

Борьба этих двух начал стала важнейшим фактором русской политики с конца XV столетия до начала Первой мировой войны.

Столь глубоко укоренившееся противоречие едва ли могло исчезнуть в результате одного революционного переворота.

Оно действительно сохранилось до наших дней и ещё может вызвать такие изменения советской политики, которые покажутся необъяснимыми, если мы не будем знать об их происхождении.

За последние пятнадцать лет уже произошли поразительные перемены, хотя их скрыло от наших глаз движение революционной идеи.

Для удобства назовём эти противоположные начала, которые на практике превратились в две противостоящие традиции, московской и петровской.

Говорить о единой русской традиции было бы неправильно: в действительности существуют две совершенно различные традиции.

Разумеется, такое деление несколько упрощает действительность, поскольку в этом мире ничто не существует в чистом виде и обе традиции часто смешиваются. Но для наших целей оно вполне пригодно.

Московскую традицию можно определить как стремление отгородиться от внешнего мира и прежде всего избежать заражения тем, что русский человек в глубине души, вероятно, называет Вечным Западом, подобно тому как мы говорим о Вечном Востоке.

Как уже отмечалось, русские освободились от татар и получили возможность обратить взор на Запад именно в тот момент, когда там начинала расцветать культура Возрождения с её вниманием к личности.

Однако вместо того чтобы попытаться догнать Запад, русские словно снова ушли в себя и стали гордиться собственной обособленностью.

Говорить здесь о необходимости «догнать» вполне справедливо.

За три столетия до этого русские Киевского княжества, которое впоследствии уступило первенство Москве, были частью основного потока европейской культуры.

Подобно англичанам, они получали правителей и аристократию из среды скандинавских викингов и свободно торговали по речным путям с Византией, Грецией и долиной Дуная.

Татары с Востока положили этому конец.

Москва поглотила Киев.

А когда настало время вновь присоединиться к Европе, Москва предпочла мрачно отвернуться и превратить собственную отсталость в добродетель, объявив культуру Запада испорченной, легкомысленной и лживой.

Для русского испорченность означает прежде всего передачу души чуждым силам, а ложь — притворство, будто всё обстоит лучше, чем на самом деле.

Иными словами, москвиты понимали собственную непри приспособленность к практической жизни и видели, что мы на Западе устроились гораздо умелее.

Однако это вовсе не заставляло их признать практический подход к жизни правильным.

Они были глубоко убеждены, что жизнь значительно глубже, суровее и сложнее, чем делают вид жители Запада.

Наша цивилизация Возрождения с её аккуратными и практичными категориями и поклонением торговле казалась им чрезмерно лёгкой, гладкой и благополучной, чтобы быть правдой.

Им представлялось, что ради спокойной и упорядоченной жизни, ради того, чтобы, как мы говорим, «чего-то добиться в жизни», мы совершили непростительный грех: согласились притворяться, будто жизнь не такова, какова она есть.

Мы делаем вид, будто всепоглощающих тайн существования, которые русский постоянно ощущает, не существует.

Именно поэтому русский судорожно ищет всеобъемлющее учение или упрощённое объяснение мира, ради утешения которого готов подчинить свою личную волю самому тяжёлому давлению.

В основе московского взгляда лежит мысль, что ради собственного удобства мы предали самих себя.

Мы идём на компромисс со злом и воображаем, будто тем самым заставили его исчезнуть.

Но зло остаётся и оскверняет всё, к чему мы прикасаемся.

Русский не желает вступать со злом в компромисс.

Зло существует, скажет он. Отрицать его нельзя. Ему можно противопоставить только добро — абсолютному злу абсолютное добро.

Если зло слишком сильно, его следует признать и преклонить перед ним колени.

Отдайте Люциферу Люциферово.

Не обманывайте себя жалкими попытками смягчить или скрыть страшную истину.

Отсюда вечная двойственность русского искусства, воплощённая в образах святого юродивого и злого гения.

В русской жизни один и тот же человек — возьмём для современности образованного сотрудника Министерства внутренних дел — способен соединять в себе крайнюю доброту и крайнее зло.

Или мы видим русского либерального мыслителя XIX века Александра Герцена, который, отшатнувшись от грубого варварства царского режима и найдя убежище под защитой просвещённых правительств Западной Европы, сам с горечью обрушивается на Запад, гордящийся своим либерализмом:

Мы разделяем ваши сомнения, но ваша вера нас не утешает. Мы разделяем вашу ненависть, но не понимаем вашей преданности тому, что завещали вам предки. Мы слишком унижены, слишком несчастны, чтобы довольствоваться вашими полумерами. Вас сдерживают угрызения совести, вас останавливают сомнения. У нас нет ни сомнений, ни угрызений; нам недостаёт лишь силы.

Различие между вашими законами и нашими императорскими указами ограничивается формулой, с которой они начинаются. Наши указы открываются сокрушительной правдой: «Царь повелеть соизволил». Ваши законы начинаются с отвратительной лжи — с издевательского употребления имени французского народа и слов «Свобода, равенство, братство».

Свод законов Николая составлен во благо самодержавия и во вред его подданным. Наполеоновский кодекс имеет совершенно тот же характер.

Мы скованы слишком многими цепями, чтобы добровольно надевать на себя новые. В этом мы стоим на одном уровне с нашими крестьянами.

Мы подчиняемся грубой силе. Мы рабы, потому что лишены возможности стать свободными; но от своих врагов мы ничего не принимаем.

Непосредственная реакция западного человека на подобные рассуждения проста: «Какая чепуха! Вам просто не мешало бы как следует пройтись».

И в этом есть здравый смысл.

Справедливо и меткое, добродушно-презрительное замечание мисс Маколей: русский видит вещи такими, каковы они есть, после чего делает их значительно хуже.

Однако за подобным отношением к жизни стоит пламенная, вызывающая и совершенно непрактичная честность.

Какими бы ошибочными ни были её выводы, мир остро нуждается в честности такого рода.

Наряду с безграничной продажностью она до сих пор существует в Советской России и, возможно, ещё спасёт нас от худших проявлений нашего собственного материализма.

До прихода Романовых и Петра Великого, прорубившего окно в Европу, обрезавшего бороды своим вельможам и вытолкнувшего их из душных деревянных теремов в огромные палаты итальянского стиля в новом городе на Неве, традиция ограждения от разлагающего влияния внешнего мира явно господствовала.

Время от времени предпринимались интеллектуальные набеги на Запад — особенно при Иване Грозном: ради поиска союзников, приглашения архитекторов и использования новейших технических открытий.

Но это были исключения.

Обычным состоянием оставалась атактистическая, обращённая внутрь мрачная замкнутость, усиленная неуверенностью в себе.

Даже после того как Пётр попытался всё изменить, за энергичными и жестокими рывками в сторону Запада неизменно следовали реакция и изоляция, подобно тому как за днём наступает ночь.

Лишь в XIX веке петербургская традиция окончательно одержала верх.

Теперь глубокая мессианская потребность получила новое выражение.

Раньше Россия намеревалась спасти мир, отвернувшись от него и сохранив русский дух от осквернения.

Теперь она собиралась спасти мир силой русского оружия.

Я вовсе не утверждаю, что петербургская экспансия, достигшая вершины в XIX столетии, была исключительно миссионерским предприятием.

В сознании ответственных министров, вероятно, преобладали уже рассмотренные стратегические и экономические мотивы.

Особенно важны были привычка расширяться по линии наименьшего сопротивления и принцип «всё или ничего», свойственный абсолютистскому характеру.

Однако особое качество русской экспансии, отличавшее её от имперских притязаний других великих держав той эпохи, несомненно, было связано с верой в божественное право русских властвовать.

Теперь эта вера распространилась и на представление об особой миссии всего славянства.

В пору имперской горячки русские нашли удобное оправдание своему стремлению двигаться на запад в легенде о единстве славян.

Практическим выражением прежде смутных и общих устремлений стало принятие царём роли защитника не только всех славян, где бы они ни жили, но и всех христиан, находившихся под турецким господством на Ближнем Востоке и Балканах.

Восточный вопрос, отравлявший европейскую политику с тех пор, как Екатерина утвердилась на Чёрном море, представляет собой классический пример того, как три составляющие русской экспансии действовали одновременно.

Стратегическое стремление к расширению по линии наименьшего сопротивления, продиктованное навязчивой заботой о безопасности, выражалось в постоянных попытках вытеснить западные державы из Чёрного моря, перекрыв им доступ через проливы.

Запад — то есть Великобритания и Франция — истолковывал это как попытку России вывести свой военно-морской флот в Средиземное море.

Экономические интересы были сосредоточены на самом побережье Чёрного моря, где Одесса предоставляла незамерзающий порт, пригодный для использования круглый год.

Но Одессу можно было запереть, а при желании атаковать и разрушить силами любой державы, имевшей доступ в Чёрное море через проливы.

Мессианское начало проявлялось в отношении России к распаду Турции — «больного человека Европы», который всё ещё угнетал славян и христиан в своих балканских владениях.

Существовала также ненависть к Англии, которая к концу правления Романовых превратилась в самостоятельный политический мотив.

Именно ненависть к Англии породила единственный откровенно захватнический замысел в русской истории.

Безумный царь Павел, разгневанный английскими притязаниями на Ближнем Востоке, задумал вместе с Наполеоном нелепый и заранее обречённый поход для завоевания Индии.

Однако особенно часто русские действия определялись страхом перед Англией на Дальнем Востоке.

Тогда Англия, подобно современной Америке, воплощала собой культуру «кока-колы».

Иными словами, она жила торговлей и, когда вообще задумывалась о подобных вещах, видела спасение мира в ничем не ограниченной коммерции.

Как сегодня убеждёнными противниками культуры «кока-колы» являются русские, так было и сто лет назад.

Мы уже говорили о русском презрении к английским лавочническим привычкам, которые стали навязываться Московии ещё при Иване Грозном.[«Лавочнические привычки» — ироническое обозначение приписываемых англичанам коммерческой расчётливости, практицизма и склонности оценивать отношения с точки зрения торговли и выгоды; от распространённого выражения «нация лавочников».- прим.перев.]

Первые английские посольства оскорбляли этого мрачного самодержца тем, что не проявляли интереса ни к чему, кроме торговли.

«Мы знаем, что дела купцов должны быть заслушаны, — признал Иван в одной из пространных бесед с доверенным посланником Елизаветы, — ибо они служат опорой государственной казне. Но сначала надлежит уладить дела государей, а уже затем — дела купцов».

Он не мог представить себе достойного государя, который ставил бы интересы своих торговцев выше собственного достоинства.

На протяжении всего XIX века русские государственные деятели вновь и вновь обрушивались на британский империализм за то, что он ставил во главу угла торговлю.

Их собственный империализм, как уже отмечалось, коренился в нетерпеливой убеждённости в величии русского предназначения.

В самом грубом виде это убеждение выражала шовинистическая петербургская печать.

За два года до Первой мировой войны, положившей конец императорской России, и всего через семь лет после Русско-японской войны, ставшей величайшим её унижением, газеты могли писать: Наша освящённая веками политика, со времён варягов и до царствования Александра III, основывалась на непреложном принципе: Россия должна расширять свою территорию за счёт соседей. Несмотря на тысячелетнее существование, Россия всё ещё находится на пути к своим естественным национальным и политическим границам.

Однако мистическая вера в русскую экспансию и предназначение России была свойственна не только профессиональным журналистам и политикам.

Ею был проникнут Достоевский.

Ею был проникнут уже цитированный нами Герцен.

Муравьёв, самая яркая и деятельная фигура в истории русско-китайских отношений, соединял в себе, как это мог сделать только русский, все черты романтического революционера, строителя империи и государственного деятеля.

Различие между Муравьёвым и Сесилом Родсом — это различие между Россией и Англией.

Муравьёв ненавидел Англию и был твёрдо намерен силой России спасти Дальний Восток от английской торговой эксплуатации.

Его склад ума хорошо раскрывается в сопоставлении двух обстоятельств.

В один момент он разрабатывал грандиозный план союза России и Америки, который должен был избавить мир от избитых мелочей западноевропейской цивилизации.

А уже в следующий предавался болезненным подозрениям русского дипломата по поводу малейших деталей британского поведения.

Два англичанина — путешественник и геолог, проезжавшие в 1848 году по Восточной Сибири, — вызвали у него мучительную тревогу.

Будущее мира, мыслимое в самых грандиозных масштабах, казалось ему зависящим от их действий. «Если они спустятся по Амуру, — объявил он, — следующей весной английские корабли займут Сахалин».

При этом, оставаясь ревностным слугой своего правительства, Муравьёв умудрялся дружить с Кропоткиным и покровительствовать Бакунину.

В промежутках между смертельной тревогой по поводу одиноких британских путешественников, которые, разумеется, непременно должны были быть шпионами, он обсуждал с Бакуниным переустройство вселенной в космическом масштабе, скромно начиная с русско-американской федерации.

Может показаться, что мы далеко отошли от основной темы.

Но в действительности это не так.

Советская Россия имеет те же стратегические и экономические заботы, что и Россия императорская.

За исключением самого Сталина, руководители Советского Союза мыслят как русские.

И большевики также стремятся спасти мир.

Сначала они хотели спасти его с помощью марксизма.

Но теперь?..

Часть 2 Сталинизм

Глава 1 Политбюро

В нескольких десятках миль к западу от Москвы, чуть в стороне от большой военной дороги, ведущей через Можайск к Смоленску, лежит удивительно живописный уголок.

Москва-река петляет здесь между невысокими лесистыми холмами, а утопленные в зелени просёлки, над которыми смыкаются клёны и каштаны, неожиданно напоминают английскую сельскую местность.

Если ехать по этим дорогам без определённой цели — а ещё совсем недавно это было возможно даже в сталинской России, если у вас имелась машина и вы знали по-русски достаточно, чтобы уговорить шофёра свернуть с главного шоссе, — то вскоре в идиллическом пейзаже возникала тревожная, совершенно неуместная подробность.

У указателя на небольшом перекрёстке стояли полдюжины полицейских в парадной форме, с автоматами под мышкой.

Это были не обычные милиционеры, обходившие улицы в фуражках с тёмно-синими околышами, а сотрудники Министерства внутренних дел господина Круглова — очередного воплощения ЧК, ГПУ и НКВД.

На фуражках у них были голубые околыши, и жили они, надо полагать, весьма неплохо.

Несколько встревоженный, но никем не остановленный, вы продолжали путь, с беспокойством припоминая, что где-то в этих местах, по слухам, Сталин и его ближайшие соратники предавались загородным удовольствиям.

На следующем перекрёстке полицейских было уже не шесть, а двенадцать. Некоторые держали винтовки с примкнутыми штыками — длинными, узкими русскими штыками круглого сечения.

Но, кроме тяжёлого, настороженного взгляда, они никак не проявляли своего присутствия.

Затем тревожное ощущение, будто вы случайно въехали на чью-то частную территорию, резко усиливалось.

На протяжении следующих двух миль машина двигалась словно в составе царского кортежа между двумя длинными цепями вооружённых до зубов полицейских.

Они стояли, прижавшись к крутым обочинам по обе стороны дороги, примерно через каждые двадцать ярдов.

И всё же ничего не происходило.

Хотя невозможно было избавиться от мысли, что всё могло бы измениться, стоило лишь остановиться и заглянуть за изгородь.

Оставалось только ехать дальше.

Наконец просёлок внезапно расширился, и прямо поперёк дороги, полностью преграждая путь, возвышались самые громадные железные ворота, какие только можно вообразить.

Оставалось повернуть назад.

Но стоило мотору заглухнуть, как машину тут же окружали.

Сзади появлялось полроты полицейских. Эти люди из МВД были обучены, организованы и вооружены как отборная воинская часть, хотя на настоящую войну их никогда не отправляли.

Вторая половина роты выходила из-за стогов сена и небольших будок возле железных ворот.

Однако они лишь смотрели.

Никто не произносил ни слова.

И тут вы замечали боковую дорогу, уходившую вдоль высокого ограждения из листового железа, которое вплотную примыкало к воротам.

В наступившей тишине слышалось пение птиц.

И каким-то образом сквозь этот обманчиво уютный лесок, залитый ароматным весенним солнцем, вдруг ощущалась вся тяжесть бескрайней, безличной равнины, тянувшейся отсюда до самой Сибири.

Сотрудники МВД по-прежнему молчали.

Шофёр снова заводил двигатель, немного сдавал назад и разворачивал машину на боковую дорогу, втайне надеясь, что она действительно куда-нибудь ведёт.

Без единого слова, держа наготове оружие всех видов, охрана наблюдала, как машина, дёргаясь, удалялась.

Ближе к Сталину вы, вероятно, уже никогда не окажетесь — если только не будете чьим-нибудь чрезвычайным посланником.

И это значительно ближе, чем, по мнению большинства иностранцев, к нему вообще можно было приблизиться.

Ваш двигатель заглох именно там, где завершал свой путь из ночного Кремля огромный бронированный «Паккард» или ЗИС с синими стёклами и обычно задёрнутыми шторками.

Вы слушали — пусть и несколько рассеянно — пение сталинских зябликов.

На обратном пути, по петляющей дороге к главному шоссе, попадались новые посты.

Железный забор тянулся вдоль одной стороны дороги больше мили, а затем уходил дугой в лес.

То здесь, то там встречались ворота поменьше и менее многочисленная охрана.

Дальше, уже среди открытых полей, машина проходила через деревню, похожую на военный лагерь.

Повсюду были полицейские в повседневной форме: одни играли в карты, сидя в рубашках на деревенской лужайке, другие чистили оружие на крыльцах, третьи маршировали у дороги, сверкая начищенными ремнями, четвёртые копались во внутренностях автомобилей, пятые несли вёдра от сельского колодца.

Затем следовали ещё две или три деревни — образцовые, сияющие свежей краской, безупречно чистые и населённые улыбающимися жителями.

Можно было сказать — образцовыми жителями, лично отобранными господином Кругловым и получившими особую норму краски.

Это были потёмкинские деревни, но не временные декорации, которые некогда возводил фаворит Екатерины ради удовольствия императрицы во время её путешествий, а постоянные.

Они были предназначены для того, чтобы в редкие дни, когда Сталин ехал в Кремль при дневном свете, убедить его в красоте и процветании его необъятных владений.

Вероятно, сквозь бронированные синие стёкла он видел весь пейзаж окрашенным в голубой цвет.

У развилки с главным шоссе снова стояли полицейские.

Затем начинался длинный стремительный спуск по лучшей дороге России, навстречу попадались новые патрули на мотоциклах.

На подступах к Москве шоссе было застроено лучшими рабочими домами столицы, в которых жили рабочие совершенно особого рода.

Наконец машина въезжала в переполненный город и сворачивала в сторону.

Но будь вы в сталинском ЗИСе или «Паккарде», вы на огромной скорости мчались бы по чудесным образом очищенному Арбату, пересекали бы улицы, ни разу не задержавшись, а у краснокирпичной башни вас уже ждала бы вытянувшаяся по стойке смирно охрана и звенел бы тонкий колокол.

Не снижая скорости, автомобиль проносился бы через узкую арку — и наконец оказывался в безопасности за кремлёвскими стенами.

Так жил не только Сталин, но и все члены высшего правительства Советского Союза — Политбюро, чьи загородные виллы скрывались за теми воротами поменьше и охранялись менее многочисленными караулами.

Любопытно, что в конституции о них не сказано ни слова.

По конституции высшим органом власти в Советском Союзе является Верховный Совет — всенародно избираемый двухпалатный орган, состоящий из представителей всех частей Союза.

Эти депутаты могут быть видными коммунистами, а могут ими и не быть.

Их избирают раз в четыре года по системе единого списка, при неизменном единодушии в девяносто девять процентов.

Дважды в год они собираются на десять дней в роскошном зале Кремля.

Это не зал для дебатов, а скорее зрительный зал, где депутаты утверждают законы, принятые в их отсутствие Президиумом Верховного Совета.

Председатель Президиума, бывший профсоюзный деятель Шверник, является формальным главой государства, своего рода президентом.

В его обязанности входит вручение наград, а также обмен поздравлениями с днём рождения и прочими любезностями с руководителями других государств.

Одна из главных обязанностей Президиума — назначать министров, руководящих различными ведомствами.

До 1948 года их называли народными комиссарами.

Теперь их более пятидесяти, поскольку в стране, где государство контролирует всякую деятельность, число министерств неизбежно должно быть огромным.

Вместе они образуют Совет министров и, согласно конституции, формально отвечают перед Верховным Советом через его Президиум.

Теоретически Президиум может в любой момент сместить любого министра.

Теоретически сам Президиум отвечает перед депутатами Верховного Совета.

Теоретически Верховный Совет отвечает перед избирателями.

Следовательно, в теории народ России способен по собственной воле отправить в отставку любого министра.

Но председателем Совета министров, то есть премьер-министром, является Сталин.

Непосредственно под ним стоят заместители председателя, или вице-премьеры, первым из которых является господин Молотов.

Каждый из них контролирует группу министерств или отдельное направление государственной политики.

Так, Берия ведает всей полицией, Булганин — вооружёнными силами, Микоян — торговлей.

Именно эти люди вместе со Сталиным составляют внутренний кабинет Советского Союза.

Но фактически они обладают властью не потому, что являются вице-премьерами.

Их положение и влияние происходят вовсе не от Верховного Совета, а от совершенно иного источника — того самого, которому и сам Верховный Совет обязан своим существованием.

Этим источником является Коммунистическая партия.

Но даже не вся партия, а её самое узкое внутреннее ядро — фактически сам Сталин.

Именно как члены Политического бюро Центрального комитета партии они управляют всей Россией.

Именно в этом качестве они приказывают назначить самих себя конституционными министрами через Президиум Верховного Совета, председатель которого также входит в их круг.

Это и есть те пресловутые тринадцать человек — хотя их число время от времени меняется, и в момент написания этой книги их двенадцать, — которые во главе со Сталиным являются абсолютными правителями России.

Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза насчитывает теперь семьдесят одного члена.

Их избирают на периодических партийных съездах либо кооптируют между съездами.

Формально съезд должен собираться каждые три года.

Но последний состоялся в 1939 году.

Поэтому уже двенадцать лет Центральный комитет действует в почти полной неизвестности, самостоятельно заполняя освободившиеся места — точнее, по выбору генерального секретаря Сталина или назначенных им лиц.

Поскольку семьдесят один человек — слишком громоздкий состав для ежедневного управления, Центральный комитет избирает несколько постоянных органов.

Первый из них — Политбюро, принимающее все важнейшие решения, связанные с управлением Советским Союзом.

Затем следует Оргбюро, отвечающее за организационную работу партии, которая сейчас насчитывает около шести миллионов членов.

Далее — Комиссия партийного контроля, ведающая внутренней дисциплиной.

Над всеми этими органами стоит постоянный Секретариат, внимательно следящий за их деятельностью.

Первым секретарём, или генеральным секретарём, является Сталин.

Ленин назначил его на этот пост в 1922 году.

Сталин терпеливо, изобретательно и беспощадно использовал должность для сокрушения своих противников и продвижения друзей.

Когда с помощью Секретариата он подчинил себе весь Центральный комитет, который тогда был значительно меньше, это означало, что он получил контроль и над Политбюро.

А следовательно — над всей Россией.

Такова в самых общих чертах структура сталинской диктатуры.

Она сама по себе достаточно интересна.

Но для наших целей значительно важнее понять, каким образом она стала именно такой.

Представляя себе безудержный деспотизм, мы забываем одно: если члены Политбюро являются властителями всей России, то одновременно они являются и порождением России.

Точно так же Гитлер и его соратники были порождением Германии, а господа Эттли и Трумэн — гордыми творениями англосаксонских держав.

Сталин и его товарищи не появились, вооружённые автоматами, из головы Люцифера, чтобы жиреть за счёт измученной и незащитной страны.

Самим своим существованием в качестве тиранов они обязаны народу, над которым тиранят.

Политбюро в его нынешнем виде возникло не по внезапному наитию.

Оно стало результатом длительного и сложного развития.

Ленин, который увидел бы его с ужасом и возмущением, тем не менее был его прародителем.

А особенности русского народа, стонущего под его бичом, позволили этому учреждению развиваться именно так, как оно развилось.

Подобно тому как для объяснения победы Ленина нам пришлось обратиться к русскому народу, для понимания Сталина нам также следует обратиться к нему.

Глава 2 Почему Сталин был неизбежен

Нет никаких сомнений, что в 1917 году Ленин всей душой верил: он трудится ради создания общества всеобщего равенства, в котором не будет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых и которое рано или поздно избавится от самой необходимости в бюрократическом государстве.

Бюрократия, как и постоянная армия, была в его глазах всего лишь «паразитом, порождённым внутренними противоречиями, раздирающими общество». Уничтожьте эти противоречия — разумеется, классовые, — и вместе с ними исчезнет паразит.

Это называлось отмиранием государства.

Накануне революции Ленин вовсе не собирался завладеть существующим государственным аппаратом. Рабочие должны были разрушить его и заменить своими советами.

Правда, Ленин не разделял мнения некоторых последователей, полагавших, что управление всей страной можно немедленно передать стихийной народной массе. И всё же он был убеждён: достаточно лишь призвать «трудящихся и бедноту участвовать в повседневном управлении государством» наряду с обычной работой на заводах и в поле.

Его первоначальные представления об управлении страной наглядно свидетельствуют о весьма ограниченных практических способностях. Сегодня об этих слабостях предпочитают не говорить даже противники Ленина. Ведь и они стремятся создать легендарный образ доброго, разностороннего гения, которого впоследствии предал Сталин.

Так, в организации промышленности и финансов Ленин не видел ничего сложнее «простых операций учёта, регистрации и проверки, которые легко может выполнять каждый грамотный человек».

Однако, будучи прирождённым самодержцем, в решающий момент Ленин оказался слишком проницателен, чтобы доверить высшее руководство революцией и строительством социализма тем самым массам, ради которых революция якобы и совершалась.

Он недаром был русским.

Властный по натуре, он унаследовал традицию жёсткого централизма и неукоснительных предписаний сверху.

Высшим руководством революции был сам Ленин.

Он часто спрашивал товарищей, что следует делать. Но если вопрос был для него важен — а обычно так и бывало, — он очень скоро сам сообщал им правильный ответ.

В эмиграции, добиваясь своего, Ленин расколол Социал-демократическую партию и едва не обрёк её на полное бессилие, решительно порвав со своими старейшими друзьями и учителями, в том числе с Плехановым.

Тогда он победил одной силой личности.

Но для управления страной, занимавшей едва ли не половину земного шара, одной силы личности было уже недостаточно. Нужны были законы и средства их принуждённого исполнения.

И законы, и эти средства неизбежно приобрели отчётливо русский характер.

Поразительно наблюдать, как уже в первые дни большевистской власти утопические мечты людей, намеревавшихся уничтожить весь аппарат царского угнетения — тюрьмы и каторгу, церковь и цензуру, привилегии и даже традиционный брак, — оказались скованы тем простым обстоятельством, что на русские вопросы они могли давать лишь русские ответы.

В то же время эти мечты уравнивались жёстким авторитарным централизмом, странным образом сочетавшимся со свободными, ничем не ограниченными обсуждениями на всех уровнях, посредством которых предполагалось управлять страной.

«Вся власть Советам!» — таков был лозунг Октябрьской революции.

Ленин воздал формальную дань привычным демократическим представлениям, созвав давно обещанное Учредительное собрание.

Но созвал он его лишь затем, чтобы навсегда разогнать.

Свои взгляды на парламентскую демократию Ленин совершенно ясно изложил в брошюре «Государство и революция»:

Раз в несколько лет решать, какой именно представитель господствующего класса будет представлять и подавлять народ в парламенте, — вот подлинная сущность буржуазного парламентаризма не только в парламентско-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках.

Ленин также прекрасно понимал, что лозунг «Вся власть Советам!» для него означал совсем не то, что для масс, стихийно создавших эти советы рабочих и солдатских депутатов.

Для Ленина власть Советов означала право Советов поддерживать большевистскую программу — не только против реакции, но и против других революционных партий.

Между тем сама большевистская программа основывалась на идее, которая лишала Советы всякого реального смысла.

Она совершенно не доверяла политической зрелости масс.

С первых дней революции в действиях Ленина проявлялось странное соединение цинизма и энтузиазма, которое западному человеку всегда кажется одним из главных противоречий русской политики.

Нет сомнений, что Ленин фанатически служил своему делу — освобождению угнетённых масс от оков.

Но как только дело доходило до практических действий, он относился к этим же массам как к наивным простакам или пешкам в искусной политической игре, которую вёл сам.

Он лгал им ради их же блага.

Лгал совершенно беззастенчиво.

Он призывал крестьян захватывать землю, хотя знал, что вскоре отнимет её обратно. Он уверял людей, будто через Советы они сами управляют страной, хотя прекрасно понимал, что держит эти Советы на поводке.

Он так откровенно лгал ради того, что считал высшим благом, что память об этом должна заставить нас задуматься, когда мы сталкиваемся с ложью Сталина, кажущейся нам бессмысленной и сознательно направленной ко злу.

На первых этапах революции реальной властью должна была стать диктатура пролетариата.

По словам Ленина:

«Особая сила подавления», служившая буржуазии для угнетения пролетариата, для подавления миллионов трудящихся горсткой богачей, должна быть заменена другой «особой силой подавления» — силой, посредством которой пролетариат будет подавлять буржуазию, то есть диктатурой пролетариата.

Но пролетариат в целом ещё не пробудился политически. Особенно это относилось к России, где рабочих было немного, а четыре пятых населения составляли крестьяне.

Поэтому настоящую диктатуру должны были осуществлять наиболее политически развитые элементы пролетариата — его «авангард».

А политически развитыми по определению являлись члены партии Ленина, впоследствии названной Коммунистической.

Так партия стала осуществлять диктатуру от имени пролетариата и якобы временно, в интересах народных масс.

Предполагалось, что рано или поздно авангард передаст власть основной массе народа.

Этого не произошло.

И уже никогда не произойдёт.

Численно партия чрезвычайно разрослась, вобрав в себя значительную часть самых способных и деятельных людей страны. Но качественно, если судить по ленинским меркам, она неуклонно вырождалась.

Параллельно с её численным ростом власть всё больше сосредоточивалась в руках узкого руководящего круга — Центрального комитета и его органов.

Пользуясь ленинским языком, их можно назвать авангардом авангарда, тогда как основная масса партии давно затерялась в поднятой ими пыли.

Ещё при жизни Ленина мечта о всеобщем равенстве начала тускнеть.

Оправдав собственную диктатуру — точнее, существовавшую в его время диктатуру партийного комитета — околomarксистскими формулами, Ленин перестал сетовать и со всей энергией посвятил себя созданию новой тирании, ближайшей и главной целью которой было удержание власти.

Это было совсем непросто.

Ему приходилось бороться не только с Гражданской войной и иностранной интервенцией, но и с теми самыми людьми, служению которым он посвятил всю свою жизнь.

Поначалу главным противником была партия социалистов-революционеров, немарксистская революционная партия деревни.

Именно эсерка Дора Каплан (Фанни Каплан – прим.перев.) стреляла в Ленина. Она не убила его, но ранение непосредственно способствовало его преждевременной смерти в 1924 году.

Однако вскоре усиление центральной диктатуры привело Ленина к ожесточённому конфликту с верными рядовыми членами собственной партии.

Решающим стал 1921 год.

Символом конфликта явилось восстание моряков в Кронштадте.

Разгон Учредительного собрания никому особенно не понравился. Троцкий называл его «открытой и окончательной ликвидацией формальной демократии во имя революционной диктатуры».

Но тогда у народа были более насущные заботы — обещанный мир и возможность получить землю.

Объявляя о роспуске собрания, Ленин воскликнул:

Теперь мы исполнили волю народа — волю, требующую передачи всей власти Советам!

Советы, верившие, что власть действительно принадлежит им, особенно не возражали.

Но когда центральное правительство приступило к насильственному изъятию зерна, положение резко изменилось.

И вновь мы видим русский народ, восставший не ради политических идей, а лишь требовавший хлеба и права спокойно жить собственной жизнью.

Манифест кронштадтских повстанцев показывает не только то, что их по-настоящему волновало, но и насколько далеко диктатура уже продвинулась по дороге к сталинской России.

Первым требованием было переизбрание Советов тайным голосованием после свободной предвыборной агитации.

Другим — освобождение политических заключённых из социалистических партий.

Далее следовали свобода собраний, профсоюзов и крестьянских объединений; свобода слова для рабочих, крестьян, анархистов и левых социалистических партий — хотя отнюдь не для всех без исключения.

И так далее.

Кронштадтское восстание было подавлено, как и многие другие, менее опасные мятежи.

Остались в прошлом времена, когда видные большевики, подобные Зиновьеву и Каменеву, протестовали против полицейского террора вплоть до угрозы уйти в отставку.

Теперь началось окончательное наступление на остатки социалистической оппозиции.

«Мы либо надёжно посадим их в тюрьму, — писал Ленин в мае 1921 года, — либо отправим к Мартову в Берлин, чтобы они могли свободно наслаждаться всеми благами свободной демократии». К этому времени численность ЧК — возрождённой царской тайной полиции — превысила тридцать тысяч человек.

А ведь она была создана всего через шесть недель после революции и первоначально состояла из Дзержинского, которого позднее воспевали как «бесстрашного рыцаря революции», и нескольких избранных помощников.

В том же году Ленин лично предложил и добился восстановления смертной казни за «принадлежность или участие в организации, поддерживающей ту часть международной буржуазии, которая стремится свергнуть коммунистов».

Сегодня, сопоставляя действительность Советской России с ленинской мечтой, нетрудно понять, что пошло не так.

Гораздо труднее заметить другое: мечта была оставлена задолго до того, как Сталин принял власть от Ленина.

Накануне переворота в октябре 1917 года большевики имели довольно ясные представления о своих намерениях.

Если бы посторонний спросил Ленина, что он собирается делать после захвата власти, тот дал бы красноречивый и подробный ответ.

Он намеревался создать республику рабочих и крестьянских советов, которые под его бдительным наблюдением стали бы настоящим и действенным правительством страны.

Если эту систему удастся распространить на различные национальные меньшинства, входившие в царскую империю, — прекрасно. Если нет — сожалеть особенно не о чем.

Республика должна была стать социалистической.

В сельском хозяйстве крупные имения предполагалось преобразовать в кооперативные хозяйства. Остальную землю следовало отдать крестьянам, чтобы они обрабатывали её по собственному усмотрению.

Правда, нужно было каким-то образом помешать им покрыть страну лоскутным одеялом мелких, экономически невыгодных наделов.

В промышленности рабочие должны были сами взять управление в свои руки и создать собственный административный аппарат, важнейшей частью которого являлось бы свободное обсуждение.

Различия в оплате труда предполагалось резко сократить, а конечной целью провозглашалось полное равенство.

Сами большевики должны были показывать пример: высшие партийные чиновники получали бы не больше простого рабочего.

В общественной жизни женщинам предоставлялось полное равенство с мужчинами.

Хотя сам Ленин не одобрял беспорядочных связей, лёгкий развод и узаконенные аборт должны были положить конец подчинению женщины мужчине.

В искусстве, образовании и всех областях духовной жизни предполагалась полная свобода эксперимента.

Весь государственный аппарат следовало разрушить и никогда больше не восстанавливать.

Полиция, армия и бюрократия подлежали упразднению.

Тюрьмы также должны были исчезнуть, поскольку преступность, как и всякое другое зло, объявлялась порождением классовой борьбы.

Не станет классов — исчезнет и преступность.

На первом этапе революции, возможно, пришлось бы временно изолировать активных противников нового режима, способных помешать строительству нового общества.

Но после окончательной победы революции эта необходимость отпала бы.

На международной арене Россия как великая держава должна была прекратить существование.

Её место заняла бы первая Советская Социалистическая Республика.

Вдохновлённые её примером, рабочие Европы повсеместно восстали бы и создали в своих странах братские республики.

Таковы вкратце провозглашённые намерения Ленина.

Именно ради их осуществления — и ни ради чего другого — он трудился всю жизнь и проверил свои убеждения насилием.

Поэтому, когда сегодня говорят об успехе русской революции, я не понимаю, что именно имеется в виду.

Россия как держава успешно пережила Ленина и стала сильнее, чем прежде.

Группа людей во главе со Сталиным добилась личного успеха в самом банальном смысле: можно было бы сказать «из грабителей банков — в премьер-министры», по аналогии с американской формулой «из бревенчатой хижины — в Белый дом».

Вероятно, можно доказать, что России действительно была необходима какая-то революция, чтобы превратиться из аграрной страны в промышленную.

Но революция в том виде, в каком её представлял Ленин, потерпела полное и бесславное поражение.

Вместо республики рабочих и крестьян возникла абсолютная диктатура, усугублённая притворством демократии — новым явлением для России, прежде не склонной обманывать саму себя.

Вместо независимости народов установилось их полное подчинение центральной власти.

Вместо социализма возникла система государственного капитализма.

Вместо сочетания кооперативного и свободного земледелия установилась самая жёсткая форма коллективизации, при которой крестьянин всё больше унижается и сегодня уже мало чем отличается от государственного крепостного.

Вместо управления промышленностью рабочими возникли самые суровые трудовые законы в мире.

Их разрабатывают профсоюзы, превратившиеся в орудие центрального правительства, а исполняет новый класс управляющих, относящийся к рабочей силе так же, как владельцы английских фабрик начала XIX века относились к своим рабочим.

Вместо равенства в оплате и уничтожения привилегий социальное неравенство стало более резким, чем почти в любой другой стране мира, если не считать индийских княжеств.

Привилегии воцарились безраздельно.

Женщины действительно получили равенство с мужчинами. Но главное проявление этого равенства состоит в том, что теперь их заставляют выполнять самую тяжёлую и грязную физическую работу. Новые брачные законы всё больше затрудняют развод, а многодетную мать, как и в гитлеровской Германии, награждают как героиню.

Искусство и образование стали средствами сталинской пропаганды.

Государственный аппарат — полиция, армия и бюрократия — достиг небывалого в истории могущества.

Через тридцать лет после Ленина люди, объявленные активными врагами народа, исчисляются миллионами и содержатся в трудовых лагерях, где живут и умирают в условиях крайней нищеты и страдания.

Россия стала второй по могуществу державой мира, подчинила многих соседей силой или угрозой силы и активно, с немалым успехом, нарушает мировое равновесие.

Ни в одной европейской стране советский пример не вызвал стихийной революции.

Там же, где революции всё-таки произошли — и всегда только в пределах советской сферы влияния, — наиболее убеждённых коммунистов впоследствии заключали в тюрьмы или убивали, заменяя русскими ставленниками.

Ленин и его последователи намеревались привести человечество к свободе и равенству при помощи организации, отрицавшей и свободу, и равенство.

И ещё:

Идеология целей была значительно изменена или вовсе отброшена, тогда как идеология средств сохранила непреходящее значение.

В этих двух наблюдениях господина Баррингтона Мура заключены начало и конец ленинской революции.

Конец наступил быстро.

Свобода закончилась почти в самом начале.

Можно утверждать, что сама по себе диктатура пролетариата ещё не означала конца свободы, поскольку рабочие и крестьяне в представлении большевиков составляли всё новое общество.

Но почти сразу свобода исчезла и внутри этого общества.

Рабочие и крестьяне, меньше всего желавшие возвращения старого порядка, оказались подчинены строгой дисциплине сверху.

На примере Кронштадтского восстания мы видели, как разочарованный пролетариат отреагировал на это развитие.

Но сопротивление оказалось бесполезным.

У Ленина имелась подходящая формула.

На всё, что он собирался сделать, у него находилась формула, выраженная околomarксистским языком.

Прославляя силу теории, он в действительности имел в виду силу специального жаргона, одним из первооткрывателей которого был наряду с венскими психологами.

Формула, позволившая ему обрушиться на пролетариат и разгромить его, называлась «демократическим централизмом».

Слово «абракадабра» означало бы не меньше и произносилось быстрее. Но слово «демократический» вызывало полезные ассоциации.

«Свобода в обсуждении — единство в действии» — так Ленин кратко излагал эту напыщенную бессмыслицу.

На принципе «свобода в обсуждении — единство в действии» и был построен советский режим.

На практике после прихода большевиков к власти это означало, что критика политической линии, одобренной партийным съездом, считалась тяжким проступком.

Затем Центральный комитет постепенно сосредоточил в своих руках управление всей партией, и тяжким проступком стала уже критика линии, провозглашённой Центральным комитетом.

В результате все обсуждения во всей иерархии Советов — от Верховного Совета до сельсовета — были перенесены с самой политики на порядок её исполнения.

Так социалистическая самокритика, о которой столько говорят, превратилась в прекрасный способ находить виновных в ошибках Кремля.

Например, Кремль мог составить план производства зерна, исходя из предположения, что промышленность выпустит на несколько тысяч тракторов больше своих реальных возможностей.

Сам план критиковать было нельзя.

Зато несчастное ведомство, отвечавшее за производство тракторов, можно было свободно разносить и в печати, и на заседаниях Советов.

Таким образом, народный гнев отводился от Кремля, несколько человек лишались должностей или голов, а сам план тихо предавался забвению.

Подобный приём знаком и некоторым нашим политикам.

Но за пределами Советского Союза его пока ещё не возвели в ранг государственной системы и не снабдили звучным названием.

«Мы никогда не отвергали террор в принципе и не можем его отвергнуть», — говорил Ленин ещё в 1901 году.

Большевики осуждали террор исключительно по соображениям целесообразности.

Они с презрением относились к политическим убийствам, совершавшимся эсерами.

Отдельные террористические акты ничего не могли изменить, укрепляли противника и отвлекали революционеров от серьёзной работы.

Но, захватив власть и получив возможность применять террор в широких и действенных масштабах, большевики немедленно признали его целесообразным.

Террор, обрушенный на активных противников режима и официально начавшийся осенью 1918 года, вскоре оказался полезен и для подавления тех, кто выступал не против самого режима, а лишь против отдельных решений правительства.

Это полностью соответствовало волшебной формуле «демократического централизма».

Орудие, выкованное для уничтожения контрреволюции, вскоре с одинаковой беспощадностью обратилось против героев пролетарской революции, которые разошлись во мнениях с центральным правительством и осмелились об этом сказать, — например против кронштадтских мятежников.

Самого Ленина от прямых последствий собственной логики временно спасла новая экономическая политика 1921 года, которую он называл «частичным возвращением к капитализму».

Она дала стране крайне необходимую передышку.

Но внутри партии движение к диктатуре продолжалось.

На X съезде партии Ленин совершенно ясно дал понять, что не намерен терпеть неограниченные обсуждения даже под прикрытием «демократического централизма».

В выступлении, которое позднее оказалось бесценным для его менее откровенного преемника, Ленин обрушился на практическое применение того, что сам теоретически разрешал:

Вероятно, среди вас найдётся немного людей, не считающих эту дискуссию чрезмерной роскошью. От себя должен добавить, что, по моему мнению, подобная роскошь была совершенно недопустима. Разрешив такое обсуждение, мы, несомненно, совершили ошибку и не заметили, что на первый план вышел вопрос, который в силу объективных обстоятельств не должен был там находиться. Мы купались в роскоши и не замечали, насколько отвлекаем внимание от настоящего и грозного вопроса кризиса, вплотную вставшего перед нами.

На том же съезде была принята резолюция, осуждавшая создание партийных фракций и предоставлявшая Центральному комитету право искоренять и уничтожать подобные группы сразу после их появления.

Всякий, кто во время кризиса слушал дебаты в Палате общин или американском Конгрессе, способен понять чувства Ленина.

Америка и Великобритания до сих пор как-то справлялись, поскольку компромисс у них в крови, а чувство меры в конечном счёте приходит на помощь подавляющему большинству.

Но Россия, как мы видели, не терпит умеренности.

Обсуждение там означает обсуждение до бесконечности.

В России нет спасительной способности вносить оговорки и смягчения.

Выбирать приходится не между слишком долгим и слишком кратким обсуждением, а между обсуждением и полным его отсутствием.

Мы не можем винить Ленина за то, что он поступал именно так.

Его можно винить лишь за то, что, будучи русским и зная Россию, он воображал, будто сможет поступать иначе.

Полезно помнить, что даже кронштадтские мятежники — ставшие символом большевистского угнетения, — требуя от Ленина свободы слова, предусмотрительно требовали её только для себя и близких им людей.

Подробно проследить развитие кремлёвской диктатуры в её современном виде было бы утомительно и для настоящего исследования совершенно необязательно.

Главное состоит в другом: диктатура неумолимо развивалась по пути, ясно проложенному Лениным, когда тот пытался управлять русским народом, который, по мнению автора, подчиняется лишь открытой силе.

Такое изложение было бы утомительно ещё и потому, что пришлось бы бесконечно повторять один и тот же примитивный приём.

Всю чудовищную историю захвата и удержания власти большевиками, разыгранную на бескрайней русской равнине ценой кровопролития, голода и миллионов искалеченных жизней и облачённую в педантические доспехи дискредитированной немецкой философии истории, можно передать одной школьной английской фразой:

Большевики пользовались идеями, но не служили им.

Так выразился господин А. Дж. П. Тейлор.

Возьмём, например, вопрос «национальной свободы».

Большевистский принцип был чрезвычайно прост.

Национальная свобода считалась правильной, если способствовала распаду буржуазных «империалистических» государств.

Она становилась неправильной, если угрожала «государству рабочих», то есть самим большевикам.

Всю большевистскую мораль, политику и систему законов можно свести к одной фразе:

Если выпадает орёл — выигрываем мы; если решка — проигрываете вы.

Я уже цитировал Сталина по одному из аспектов национальной свободы. Вот ещё одно его высказывание:

Пролетариат должен поддерживать национальные движения, способствующие ослаблению и разрушению империализма, а не те, которые укрепляют и сохраняют его. В некоторых угнетённых странах национальные движения могут противоречить общим интересам пролетарского движения. Очевидно, что о поддержке подобных движений не может быть и речи. Вопрос о национальных правах не существует сам по себе. Он является частью общего вопроса пролетарской революции, подчинён ему и может рассматриваться пролетариатом только с этой точки зрения.

Это более пространное упражнение в партийном жаргоне, чем «демократический централизм».

Но Сталину всегда недоставало ленинского таланта пропагандиста, умевшего вводить в заблуждение посредством краткой и звучной формулы.

«Орёл — выигрываю я, решка — проигрываете вы» короче и честнее.

Но это ленинизм, а не сталинизм.

Именно Ленин первым применил этот приём при управлении Россией.

Он обманом добился поддержки рабочих и крестьян, пообещав им мир и землю, хотя знал, что втянет их в «череду кровавых конфликтов» и рано или поздно будет вынужден провести коллективизацию.

Именно Ленин разрешил наступление на Варшаву «в целях защиты власти рабочего класса».

Именно Ленин с помощью Новой экономической политики впервые явил миру поучительное зрелище революционного вождя, сотрудничающего с самыми непримиримыми врагами революции, чтобы удобнее и беспощаднее расправиться со всеми революционными силами внутри страны, способными помешать его собственной игре.

Иными словами, превращение Политбюро в самую всеобъемлющую и абсолютную диктатуру современной истории изначально содержалось в ленинизме, предоставившем необходимые методы.

Но это превращение стало возможным благодаря русскому народу.

В те годы, когда решительный вождь, опиравшийся на общенародную идею, ещё мог сломить большевистскую тиранию — хотя бы организовав по всей стране массовое пассивное сопротивление, — народ бесславно не сумел проявить свою волю.

Возможные вожди существовали.

Сначала они действовали в открытой оппозиции, затем в подполье, позднее — в армии и самой Коммунистической партии.

Но не существовало общенародной идеи, на которую они могли бы опереться.

В этом заключается трагедия России и подлинная причина её отсталости.

Дело не в пулемётах.

У Александра II пулемётов не было.

Дело в отсутствии общенародных идей.

Народные идеи, вера в простые принципы могут быть нелепыми и ошибочными. Но они по крайней мере возвышают человека над самим собой, загораются в его груди пламенем и создают мучеников. Россия — страна без мучеников.

В первое десятилетие большевистского правления существовало немало пассивного и даже активного сопротивления.

Но это не было сопротивлением во имя принципа.

Оно никогда не превращалось в общенациональное движение против тирании, нарушавшей все нормы порядочности.

Россия — страна, где порядочность не играет общественной роли.

Здесь нет общепризнанного кодекса поведения, нет минимального общего представления о допустимых поступках.

Допустимо всё.

Поэтому частной человеческой доброте, запасы которой в России, возможно, больше, чем где-либо в мире, неизменно противостоит организованное зло.

Первоначальное сопротивление большевикам было заранее обречено, потому что за ним не стояло никакой идеи, как не стояло идеи и за многочисленными крестьянскими восстаниями русской истории.

Даже героические кронштадтские мятежники, как мы уже видели, сражались не за свободу слова как всеобщий принцип, а лишь за свободу слова для самих себя.

Пламя мученичества не зажигается одним желанием иметь хлеб и спокойно жить.

Временами, когда хлеба становится особенно мало, а давление центральной власти особенно жестоко, гнев и отчаяние вырываются наружу в форме мятежа.

Но подобное восстание не обладает внутренней силой и продолжением.

Рано или поздно оно признаёт превосходство силы и покоряется.

Так особенности русского народа, позволившие Ленину захватить власть, поскольку люди не пожелали горячо поддержать Временное правительство, хотя и неумело пытавшееся принести России подлинно демократическую идею, впоследствии помогли Сталину укрепить своё господство.

Что же касается возможных руководителей восстания — членов собственной партии Сталина, которых он позднее расстрелял, — они были настолько проникнуты русской верой в спасительную силу ортодоксии, что, потерпев поражение в политическом споре, отрекались от собственных взглядов.

И делали это не ради спасения жизни, а ради того, чтобы сообщество сохранилось как единое целое.

Поэтому, возможно, несправедливо называть Россию страной без мучеников.

Это страна миллиона мучеников.

Только русский мученик — тот, кто уничтожает собственный разум, лишь бы не нарушить совершенного единодушия общего замысла.

Выходит, он ставит коллектив выше истины.

Именно так оно и есть.

Но что такое истина?

Поиск истины способен привести лишь к самым приблизительным и общим ответам.

Русскому человеку, мыслящему по принципу «всё или ничего», этого недостаточно.

Если он не достиг абсолютной истины, значит, не достиг ничего.

Таково было настроение бесплодных искателей истины XIX века.

Затем на некоторое время русский большевик, бросившись в противоположную крайность, принял марксизм за истину.

Но марксизм был лишь тем, чем его объявляли марксисты.

На практике — тем, чем его называли кремлёвские марксисты, русские по рождению и марксисты по усвоенному учению.

С нашей отстранённой точки зрения нетрудно увидеть, что это означало не что иное, как возрождение русской идеи.

За эту идею, сам того не понимая, умер Бухарин.

Сталин же это понимал — возможно, потому, что сам не был русским.

Глава 3 Искажение идеи

Если Ленин привёл Россию к коммунизму, то Сталин вынул марксизм из ленинизма.

Разумеется, это утверждение требует множества оговорок. Но поскольку оно служит ключом к пониманию нынешних мотивов Кремля, я вынес его в начало раздела как указатель направления, в котором будет развиваться дальнейшее рассуждение.

Я не утверждаю, что Сталин с самого начала ясно понимал, что делает, приступая к этому очищению ленинизма от марксизма. Но теперь он, несомненно, это понимает.

Любопытно, что именно в тот день, когда были написаны предыдущие строки, мой достопочтимый знакомый господин Поспелов, ещё недавно главный редактор «Правды», а теперь директор Института Маркса — Энгельса — Ленина, произнёс в присутствии Сталина речь по случаю двадцать седьмой годовщины смерти Ленина.

Имя Маркса в этой речи не прозвучало ни разу.

Это, разумеется, не мешает Сталину пользоваться отдельными положениями марксизма как внутри России, так и за её пределами — особенно за пределами страны.

Не означает это и того, что он перестал быть невольным пленником марксистских категорий мышления.

Сталин меньше кого-либо склонен недооценивать движущую силу марксистско-ленинской идеи. Эта идея господствует над миллионами людей, которые почти не сознают собственного подчинения, и послужила средством нравственного разложения ещё миллионов.

Она обладает магической привлекательностью готового ответа на любую жизненную трудность — нечто вроде детской книжки с готовыми ответами для взрослых.

Сила марксистско-ленинской теории состоит в том, что она позволяет партии правильно ориентироваться в любой обстановке, понимать внутреннюю связь происходящих событий, предвидеть ход их развития и видеть не только то, как и в каком направлении они развиваются сегодня, но и то, как и в каком направлении они неизбежно будут развиваться в будущем.

Это довольно точное изложение того, что данное учение означает для верующего коммуниста.

Цитата взята из «Краткого курса истории ВКП(б)», который первоначально считался написанным под руководством Сталина, а позднее был объявлен его собственным трудом.

Если воспринимать эти слова буквально, они вполне подошли бы для рекламы патентованного лекарства от всех болезней.

И склад ума, который они обнаруживают, напоминает мышление человека, объясняющего все недуги организма голоданием по ночам.

То обстоятельство, что человек верит в определённую философию, ещё не делает его философом.

Нужно ясно различать тех, кто пользуется марксизмом или марксизмом-ленинизмом как готовым практическим правилом, и тех, кто действительно способен развивать эту теорию.

Вера в учение, претендующее на объяснение вселенной, ещё не означает, что оно действительно объясняет вселенную.

Она не означает и того, что верующий понимает данную теорию или способен применять её на практике.

Например, моя собственная вера в теорию Эйнштейна примерно так же глубока, как вера среднего коммуниста в марксизм, хотя моя вера, пожалуй, несколько осторожнее.

В своей блестящей биографии Сталина Исаак Дойчер очень близко подходит к истине, говоря о сталинском марксизме с тем опасным презрением, которое интеллектual нередко испытывает к человеку действия:

Однако интерес практиков сталинского типа к философии и теории был строго ограничен. Ради умственного и политического удобства они принимали несколько основных формул марксистской философии, переданных им популяризаторами учения.

Эти формулы казались чудесными ключами к самым сложным вопросам, а ничто так не успокаивает полубразованного человека, как обладание подобными ключами.

Полуинтеллигенция, из которой социализм набирал часть своих средних кадров, пользовалась марксизмом как средством экономии умственного труда — простым в обращении и поразительно действенным.

Достаточно было нажать одну кнопку, чтобы покончить с одной идеей, и другую — чтобы разделаться со следующей.

Но хотя Дойчер здесь очень близок к истине, промах, как известно, остаётся промахом, даже если пуля прошла совсем рядом с целью.

Этот отрывок с полной точностью относится к тем людям, которыми Сталин пользовался. Если заменить в нём два-три слова, его можно было бы применить и к подавляющему большинству христиан.

Но, как мне кажется, к самому Сталину он неприменим.

Мы не знаем — да для наших целей это и неважно, поскольку мы не занимаемся психологическим портретом Сталина, — принимал ли он в 1928 году приведённые выше слова в том смысле, который вкладывали в них окружающие.

Я склонен думать, что нет: весь текст пронизан осторожно оставленными лазейками.

Но существенно другое: сегодня Сталин, несомненно, уже не принимает эти слова буквально.

Это можно было бы заключить из самого содержания его политики. Но поскольку в последнее время он сам открыто заявил об этом, нам больше нет необходимости полагаться лишь на косвенные свидетельства.

Судя по проявившимся чертам его характера, Сталин, в отличие от своих старших товарищей, всегда относился к марксизму с известной долей скептицизма — примерно так же, как средневековые папы, а хочется надеяться, что и некоторые их более поздние преемники, относились к догмам, которые сами провозглашали.

До 1931 года у нас нет документальных доказательств того, что Сталин не принимал ленинский марксизм целиком.

Но мы можем судить по его поступкам.

Во всей его карьере нет ничего, что свидетельствовало бы о склонности к доктринёрству или о готовности сознательно проглотить какое-либо учение целиком и без размышлений.

Все доступные свидетельства говорят скорее об обратном.

Это, повторю ещё раз, вовсе не означает, что весь его взгляд на мир не окрашен и даже в значительной степени не обусловлен марксистскими формами мышления.

Однако прежде чем разбираться, во что именно верят Сталин и его товарищи, необходимо выяснить, верят ли они вообще хоть во что-нибудь.

Существует школа мысли, утверждающая, что не верят.

Любопытно, что именно те, кто считает Политбюро шайкой законченных гангстеров, чаще всего говорят об угрозе коммунизма.

Это противоречие, по-видимому, возникает из сентиментального заблуждения.

Легко представить этих людей изобретательными головорезами — жестокими, бессовестными, беспринципными, готовыми любой ценой удерживать свои должности, одержимыми жаждой власти и ничем более.

Не станем пока спрашивать, что на самом деле представляет собой гангстер и способен ли гангстерский склад ума поддерживать длительный интерес к мировому господству. Допустим ради рассуждения это расплывчатое определение.

Да, действия Политбюро жестоки.

Да, у этих людей нет нравственных сомнений.

Да, по нашим меркам их поведение беспринципно.

Да, они проявляют глубокую и постоянную заботу о сохранении собственных позиций.

Да, власть обладает для них непреодолимой привлекательностью.

Но что всё это доказывает?

Можно утверждать, что их жестокость — это жестокость безразличия, а не деятельной злобы.

Они наследуют русскую традицию необузданного и произвольного насилия, усиленного неуклюжестью и отсутствием чувства меры.

Их бессовестность может быть следствием сознательной порочности.

Но с таким же успехом она может быть выражением последовательной логики.

Бессовестное поведение в рамках установленного учения является необходимым требованием марксизма-ленинизма, который сам представляет собой жёсткую и всеобъемлющую систему принципов.

Забота о сохранении должности — всеобщая человеческая слабость. В наиболее чистом виде её можно встретить среди британских министров, американских президентов или провинциальных начальников станций в любой части света.

Жажда власти также не требует объяснений.

Немногие достигают власти и никто долго её не удерживает, если не желает её сильнее всего остального.

Но утверждение, что человек жаждет власти, почти ничего не говорит мне о нём, кроме того, что в этом отношении он не похож на меня.

Поэтому при имеющихся свидетельствах считать мрачных обитателей Московского Кремля группой международных гангстеров, движимых исключительно личной выгодой, не только необоснованно.

Это ещё и высшая форма самого опасного принятия желаемого за действительное.

Ведь с гангстером во многих отношениях гораздо легче иметь дело, чем с фанатиком.

Гангстер сам устанавливает для себя закон и действует, не обладая ни малейшим нравственным авторитетом. Поэтому его можно уничтожить как отдельного человека.

Правоверный московский коммунист, напротив, что бы он ни понимал под коммунизмом и насколько бы нравственно испорчен ни был сам, строит всю свою позицию на нравственном авторитете идеи.

Ударом по самому человеку эту позицию уничтожить нельзя.

То же относится к патриоту.

Иными словами, если члены Политбюро не верят ни в коммунизм, ни в Россию, они всего лишь злые люди, действующие в нравственной пустоте.

Но если они верят в коммунизм, в Россию или в то и другое одновременно, то перед нами — люди, хорошие или дурные, одержимые идеей.

И вести себя они будут соответственно.

Это вовсе не отвлечённый спор.

Он непосредственно связан с определением противника, а следовательно, и с нашей собственной судьбой.

Между тем, пытаясь предвидеть будущее, мы довольствуемся самыми туманными рассуждениями о людях, которые могут это будущее определить.

Одной из предпосылок катастрофы является безрассудный страх — страх, толкающий к паническим действиям.

Слишком многие из нас именно так боятся Кремля.

Но половина нашего страха и почти весь паралич, время от времени прерываемый судорожными выпадами в целях самозащиты, объясняются тем, что мы совершенно необоснованно приписываем советским руководителям противоречащие и взаимно исключаящие друг друга свойства.

В одном предложении мы осуждаем их как безответственных тиранов, думающих лишь о собственном возвышении и способных в любой момент предпринять безумную попытку завоевать мир силой оружия.

В следующем — осуждаем коммунизм, для которого Москва стала новым Римом, за стремление разжечь революцию во всём мире.

Такая путаница порождает состояние перегретого страха и позволяет отвечать по-фрейдистски на всякую попытку увидеть большевиков в нормальном человеческом масштабе.

Те их действия, которые трудно объяснить коммунистическими мотивами, немедленно объясняются гангстерской алчностью.

Но это попытка одновременно съесть пирог и сохранить его.

Так не бывает.

Никто, даже Молотов, не может постоянно пользоваться двумя взаимоисключающими объяснениями.

Если временами кажется, что члены Политбюро именно так и поступают, то отчасти это объясняется их собственной путаницей, а отчасти — нашим смешением мотивов и средств.

Их методы могут быть гангстерскими.

Но мотивы — не гангстерские.

Нужно помнить, кем были эти люди до того, как поднялись на нынешнюю смертельно опасную вершину.

Я говорю о старшем поколении большевиков — о тех, кто участвовал в революции и должен был бороться за победу.

Молодое поколение, выросшее внутри тесного правящего круга великой державы, представляет собой особую и бесконечно увлекательную тему, которой мы здесь касаться не можем.

Старые большевики были настоящими революционерами.

Какие бы тёмные и неясные причины ими ни двигали, они не могли мириться с существующим порядком и были готовы рисковать жизнью ради его уничтожения.

Они, несомненно, не ожидали, что однажды станут верховными властителями всей России.

Судя по их характерам и биографиям, преданность ленинскому делу, как и у самого Ленина, была вдохновлена скорее ненавистью к угнетателям, чем любовью к угнетённым.

Но как большевиков их поддерживало почти философское толкование истории.

Как цельная система оно было нелепо, однако содержало немало отдельных истин и увлекало умы значительно более тонкие, чем их собственные.

Можно сказать, что беспощадная борьба за власть и последующее обладание ею окончательно развратили этих людей.

Но, по-моему, такая постановка вопроса ничего не объясняет.

То, что поддаётся разложению, будет разложено.

Можно принять за аксиому, что человек, стремящийся к власти, по природе скорее берёт, чем отдаёт, какими бы возвышенными ни были его конечные цели. Следовательно, способность к нравственному разложению была заложена в нём изначально.

Несомненно, каждый член Политбюро был испорчен властью как человек.

Но это ещё не означает, что изменился его способ мышления, а нас здесь интересует именно он.

Светский прелат умирает с молитвой на устах и произносит её искренне, хотя собственной жизнью он своей вере не следовал.

Точно так же даже те большевики, которые в действиях дальше всего отошли от марксизма, могут по-прежнему бессознательно мыслить марксистскими категориями.

Более того, иначе мыслить они не способны, поскольку никакого другого языка мысли не знают.

Способность к интеллектуальной отстранённости — редчайший дар.

Человек не может десятилетиями повторять одни и те же слова и не запутаться в паутине, которую сам сплёл.

На деле нет никаких доказательств, что соратники Сталина когда-либо пытались освободиться от этой паутины.

Все свидетельства говорят о том, что они не только убеждённо проповедуют то, что считают ленинизмом, но и сами являются его порождением.

В их понимании это учение принесло им чрезвычайно много.

Оно привело к Октябрьской революции.

Дало большевикам абсолютную власть над одной шестой частью суши.

Позволило уничтожить врагов и укрепить режим.

Распространило фактическое господство Москвы далеко за пределы Советского Союза.

Серьёзно помешало усилиям западных держав — то есть врага, согласно советскому определению, — спасти от последствий войны то, что осталось от Европы.

В Азии большевики торжествуют, делая всё менее устойчивыми дальневосточные позиции Англии, Франции и Голландии.

Как же они могут не верить в формулу, которая принесла им такие успехи?

То обстоятельство, что она полностью провалилась в достижении своей первоначальной цели — достойной жизни для народа России, — не имеет для них никакого веса.

Всегда остаётся завтрашний день.

И тот факт, что, говоря теперь о коммунизме, Сталин и его товарищи в действительности подразумевают Россию, а точнее Великороссию, нисколько не мешает им каким-то образом верить, что Маркс находится на их стороне.

Способность одновременно придерживаться двух прямо противоположных идей настолько распространена, что не должна вызывать удивления.

Мы замечаем её у друзей и у самих себя.

Она настолько характерна для человека, что её можно считать безошибочным признаком, отличающим его от животного, способного думать лишь об одном за раз.

И всё же мы постоянно забываем об этом.

В данном случае нам кажется, что правители России должны быть либо марксистами или полумарксистами, либо старомодными великорусскими империалистами, либо гангстерами.

Истина, разумеется, состоит в том, что они являются всеми тремя одновременно.

Возьмём конкретный пример.

Когда господин Молотов с мрачно-победным видом социалистического санитарного инспектора, объявляющего непригодными комнаты прислуги во дворце, заявил в 1948 году, что «все дороги ведут к коммунизму», в действительности он имел в виду, что все дороги ведут в Москву.

Но рассуждение, на котором он основывал это предсказание, было марксистско-ленинским.

Другого он не знал.

Ещё важнее то, что его утверждение основывалось не на наблюдаемых фактах, а на цепи рассуждений, исходившей из предпосылки, ложность которой доказала сама Москва.

Наблюдая за происходящим в мире, нетрудно понять, что думает Молотов.

Гораздо труднее осознать, что в своём мышлении он несвободен.

В наши дни бывают моменты, когда его слова кажутся всем нам слишком правдивыми.

Но существенно то, что убеждение Молотова вытекает не из событий, действительно свидетельствующих о наступлении коммунизма, а из теории истории, утверждающей, что все дороги обязаны вести к коммунизму.

Поэтому всё происходящее сегодня — от националистических движений в Азии до плана Маршалла, который он воспринимает как отчаянную попытку американского крупного бизнеса поддержать рушащуюся экономику, заставляя иностранцев покупать американские товары, — лишь подтверждает то, что Молотов якобы знал заранее.

И тот факт, что теория, лежащая в основе его рассуждений, была полностью опровергнута ленинской революцией, не имевшей ничего общего с революцией, которую представлял Маркс, а также последующим развитием самой России, нисколько не уменьшает её убедительности в глазах человека, не знающего иного способа мыслить.

В отношении внешнего мира сталинский марксизм — уже переработанный Лениным — содержит лишь два положения, которые должны нас беспокоить.

Первое — общее утверждение о наступающей пролетарской революции.

Второе — конкретное утверждение о том, каким образом эта революция будет продвигаться.

По существу, это всё, что осталось от кремлёвского марксизма.

Всё остальное, как мы увидим, разбилось о суровую действительность России и в конце концов было отброшено.

Даже эти два положения уже потерпели крушение, и однажды коммунистам придётся это признать — как, по крайней мере отчасти, уже признаёт сам Сталин.

Но большинство московских коммунистов пока от них не отказалось.

Мы цепляемся за собственные ошибки, когда больше цепляться не за что.

Человек, годами смотревший на мир сквозь искажающее стекло догмы, начинает находить подтверждение этой догмы во всём, что видит.

Он утрачивает способность к объективному взгляду.

Если после последней войны коммунисты на международной арене, но не внутри самой России, добились значительных успехов, то прежде всего потому, что происходящее в мире отчасти действительно напоминает развитие событий, предсказанное Лениным.

Он, например, говорил, что Париж падёт на Янцзы.

Поэтому соответствующие догматические действия Кремля могут казаться причиной заранее предсказанных последствий и в отдельных случаях даже действительно их вызывать, настолько близко порой теория соприкасается с действительностью.

Предположим, вы убеждены, что сосед намеревается захватить угол вашего участка.

Чтобы держать его на расстоянии, вы предпринимаете предупредительные действия и тем самым провоцируете ответное нападение.

После этого вы почти наверняка решите, что ваши первоначальные опасения полностью подтвердились.

Именно подобные ситуации московский коммунист неустанно создаёт вновь и вновь.

Они вырастают из уже рассмотренной нами привычки мышления.

Но эта привычка вовсе не исключает одновременного возникновения взглядов, логически с ней несовместимых, — в данном случае возрождения прямого и откровенного национализма.

Учитывая нелогичность нашего собственного поведения, странно, что мы продолжаем требовать безупречной логики от других.

Порой мы даже искажаем их поступки, чтобы наделить их логикой, которой в действительности не существует.

Это не только ошибочно.

Это может быть опасно.

Глава 4 Возрождение русского национализма

Если взглянуть на прошлое в свете недавних событий, возрождение русской идеи можно отнести к 1931 году. Именно тогда Сталин, выступая с пламенной речью перед руководителями, отвечавшими за осуществление первой пятилетки, отбросил марксистские доводы и прямо обратился к национальному чувству.

И в то время действительно необходимо было возродить какую-то идею.

Для народа России вера в то, что пролетарская революция приведёт простого человека в эпоху свободы и света, уже рухнула.

Сталин достиг абсолютной власти в результате борьбы, носившей все черты старомодной дворцовой интриги, где ум и хитрость одного человека противостоят уму и хитрости другого, а безличные силы истории, по-видимому, вообще не играют никакой роли.

Сначала он воспользовался Каменевым и Зиновьевым, чтобы свергнуть Троцкого. Затем использовал Рыкова и Бухарина, чтобы устранить Каменева и Зиновьева. Теперь он был уже достаточно силен, чтобы действовать самостоятельно и избавиться от Рыкова и Бухарина.

До конца того же года его способный и преданный ближайший соратник Молотов должен был стать главой правительства. Он вышел из безвестности Центрального комитета, возглавил конституционное правительство и при первой же возможности открыто сообщил всему миру о своих подлинных обязанностях:

Я не перестаю быть партийным работником, — заявил он, — и отныне считаю своей главной обязанностью проведение в жизнь воли Центрального комитета.

Это означало волю Сталина как генерального секретаря.

В борьбе за власть Сталину удалось заполнить высшие эшелоны партии собственными сторонниками, всем своим положением обязанными лично ему.

Такое устройство власти не соответствовало марксистскому представлению о характере правительства в социалистическом обществе.

Не было оно и ленинским, хотя возможность его осуществления создал не кто иной, как Ленин.

Одновременно Сталин только что заставил Россию пройти через коллективизацию сельского хозяйства ценой настоящей гражданской войны между государством и крестьянством.

Ленин понимал необходимость того, что называл кооперативным земледелием. Но в период новой экономической политики он полагал, что понадобится двадцать лет, прежде чем крестьянство удастся окончательно «поставить на социалистические рельсы».

Сталин решил раз и навсегда провести сплошную коллективизацию в кратчайшие сроки.

Своё решение он объяснял необходимостью привести сельское хозяйство в такое состояние, при котором оно, используя меньше рабочих рук — поскольку мужчины требовались на заводах, — могло бы надёжно и в достаточном количестве снабжать продовольствием городских рабочих.

Сталин действительно провёл коллективизацию, но цена оказалась страшной, и русские продолжают расплачиваться за неё до сих пор.

Сначала были миллионы сломанных жизней — жизни зажиточных и средних крестьян, так называемых кулаков, убитых в ходе борьбы или сосланных в Сибирь.

Затем последовали три миллиона погибших во время великого голода, охватившего Украину, когда крестьяне сжигали урожай и забивали скот, лишь бы не отдавать их государству.

Эта катастрофа вдвое сократила поголовье сельскохозяйственных животных во всём Советском Союзе. Даже через десять лет, к моменту нападения Германии, эти потери ещё не были восполнены.

Наконец, результатом стала постоянная озлобленность крестьянства, особенно в западных областях страны, едва не приведшая к губительным последствиям в первые два года войны.

Одновременно разваливалась первая пятилетка.

Ленин считал индустриализацию Советского Союза единственной надеждой на выживание революции.

Однако из-за плачевного состояния промышленности после Гражданской войны и иностранной интервенции он был вынужден отложить индустриализацию, обратившись за помощью к деятелям нэпа, чтобы поставить страну на ноги.

К 1927 году общий объём промышленного производства удалось довести до довоенного уровня, хотя отдельные отрасли по-прежнему находились в тяжёлом положении. Производство зерна всё ещё отставало.

Теперь требовались организованные усилия, и в 1928 году Сталин упразднил нэп и начал первую пятилетку, отличавшуюся безумной чрезмерностью поставленных целей.

Пятилетка и коллективизация осуществлялись одновременно.

Обе меры — принудительная индустриализация с использованием управляемой государством рабочей силы и насильственная коллективизация — прежде предлагались Троцким.

Сталин уже воспользовался естественным сопротивлением насилию, предлагавшемуся Троцким, особенно ясно выраженным Бухариным, чтобы настроить общественное мнение против своего главного соперника.

Но, устранив Троцкого, Сталин присвоил его программу.

Беспощадным и непрерывным наступлением на старое крестьянское хозяйство и рабской эксплуатацией крестьян, насильно загнанных на новые заводы, он уничтожил последние остатки видимости того, что государство действует в интересах народа.

Но и этого было недостаточно.

Пролетарская революция потерпела поражение во всей Европе.

Вместо ленинизма пришли фашизм и нацизм.

И в тот момент, когда Россия переживала самую жестокую промышленную и аграрную революцию в истории — революцию, проводившуюся сверху вопреки сопротивлению народа, — Сталин столкнулся на Западе с новой угрозой Гитлера, а на Востоке — с возродившейся угрозой японского империализма.

Таким образом, к 1931 году Сталин на собственном примере доказал, что история создаётся не только безличным взаимодействием общественных сил, но и вполне личными честолюбивыми устремлениями отдельных вождей.

Он также окончательно и бесповоротно продемонстрировал народу России — подавив сопротивление крестьян коллективизации и введя карательное трудовое законодательство, — что люди не имеют никакого голоса в управлении страной.

Следовательно, с этой точки зрения революция была совершена напрасно.

Немцы и итальянцы, в свою очередь, доказали, что национальная идея обладает гораздо большей притягательной силой, чем идея международного братства.

Сталин оказался в нелепом положении абсолютного диктатора, который основывал свои притязания на очевидной фикции, отрицавшей саму возможность его существования и не имевшей никакой привлекательности для народа.

При этом ему противостояли с Востока и Запада два абсолютных диктатора, чьё положение прочно опиралось на подлинные народные чувства.

Необходимо было что-то предпринять.

Прежде всего следовало заставить русский народ поверить в Сталина и возродить его древний патриотизм.

Сделать это было нелегко, поскольку в школе всех учили, что великих людей не существует, а национальная гордость принадлежит примитивному прошлому.

Рано или поздно с той же проблемой столкнулся бы и Ленин. Но милосердная смерть избавила его от этого испытания.

Сталин же был жив и намеревался прожить ещё долго.

Что касается неграмотных народных масс, здесь беспокоиться было не о чем.

Сталин, грузин по рождению и гениальный политик, превосходно знал русских — их глубокую любовь к родной земле и всепоглощающую потребность верить в доброго «батюшку-вождя», полубога, который защитит их от худших злоупотреблений чиновников.

Но партия представляла собой совершенно иную проблему.

Партия, получившая радикальное марксистское воспитание и совершенно необходимая Сталину для управления страной, ожидала от него определённого поведения.

При помощи искусных манипуляций он мог проделывать с партией почти всё, что было вообще возможно.

Но он не мог без серьёзных потрясений предстать перед ней как посланный Богом вождь русского народа.

Для партии он должен был оставаться генеральным секретарём — более мудрым и опытным, чем другие, поскольку даже ленинизм признавал, что одни люди могут быть мудрее других, и сам Ленин создал подобный прецедент, — но всё же слугой партии.

Должны были пройти годы, прежде чем Сталин смог открыто предстать перед народом в качестве Вождя.

Начиная с 1931 года для этого понадобилось ровно десятилетие и потрясение войны.

Однако Сталин мог заранее подготовить почву.

А лучшим способом такой подготовки было возрождение идеи исторического предназначения России и идеи великого человека.

Я вовсе не утверждаю, что Сталин сознательно и ясно сформулировал для себя эти мысли.

По-видимому, он прежде всего был человеком инстинкта.

Но именно к этому в действительности сводились его действия.

Если бы мы считали Сталина хладнокровным стратегом, заранее рассчитывающим свои действия на десятилетия вперёд, можно было бы утверждать, что план его кампании возник ещё в день похорон Ленина, когда Сталин положил начало ленинскому культу и тем самым создал прецедент почитания великих людей.

Однако все имеющиеся свидетельства показывают, что Сталин в значительной мере жил сегодняшним днём.

Он полагался на инстинкт, подсказывавший ему общее направление действий, и на несокрушимую волю, которая должна была исправлять ошибки исполнения.

Внезапные и импровизированные решения, принимавшиеся им во время всех великих кризисов его жизни, подтверждают такое понимание.

Из этого следует, что своим нынешним величием Сталин обязан России гораздо больше, чем Россия обязана ему своим нынешним обликом.

Насколько он освобождался от смиренной рубашки марксистской теории, настолько, как мне кажется, правильнее было бы сказать, что главную причину он видел не в недостатках самого марксизма, а в слабостях своих товарищей-марксистов.

Стоя несколько в стороне и глядя проницательными кавказскими глазами на своих довольно нелепых соратников, Сталин видел, что они говорят вздор и совершенно не подходят для того, чтобы поднять на ноги великую страну и управлять ею — особенно такую страну, как Россия.

Только он обладал силой, характером, выносливостью и гибкостью, необходимыми для выполнения этой задачи.

Для Сталина, сознательно или бессознательно, теория была гораздо полезнее как средство рационального оправдания уже свершившегося факта, чем как руководство к будущим действиям.

Он определённо не был русским.

Он происходил из грузинских горцев, смотревших на своих русских завоевателей с презрением как на тяжёлых, неуклюжих увальней.

А что касается российских евреев с их доктринёрским словоблудием...

Кроме того, как уже отмечалось, Сталин был человеком подполья, оставшимся внутри страны, чтобы продолжать борьбу.

Ему было свойственно недоверие подпольщика к высокопарным эмигрантам.

Очевидно, что этот человек всегда был безгранично честолюбив.

Столь же очевидно, что он не ставил перед собой сознательной цели навязать России собственное самодержавие.

Есть все основания полагать, что он болезненно переживал суровое осуждение умиравшего Ленина, слишком поздно увидевшего, куда направляется его младший товарищ — и куда тот неизбежно должен был прийти в результате того, что сделал сам Ленин.

Вероятно, в последние месяцы жизни, беспомощно лежа в постели, Ленин видел ситуацию яснее, чем сам Сталин.

Сталин не начинал с намерения управлять народом железной рукой.

Мы видим, как он вместе со своим помощником Кагановичем почти с трогательной наивностью ломает голову над проблемами демократического централизма.

В 1925 году Каганович заметил:

Если депутат Совета приходит на заседание, заранее зная, что все вопросы и решения уже определены узким партийным комитетом, особой активности он проявлять не станет.

Но к 1930 году он уже говорил:

Кто-то может сказать, что это нарушение пролетарской демократии.

Речь шла о том, как Сталин заполнял собственными людьми Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов.

Каганович продолжал:

Но, товарищи, давно известно, что для нас, большевиков, демократия не является фетишем. Для нас пролетарская демократия — это средство вооружения рабочего класса для более успешного выполнения его социалистических задач.

Путь между этими двумя позициями был собственным, заранее не продуманным путём Сталина.

Всё началось с внезапного перехвата инициативы после смерти Ленина, успех которого во многом зависел от того, чтобы не допустить Троцкого на похороны.

Затем последовало неподготовленное наступление на промышленность и сельское хозяйство, вызванное осознанием того, что, если немедленно не принять радикальных мер, Советский Союз просто распадётся.

Потом пришли всеобъемлющие чистки, начавшиеся после того, как Сталин долгое время искренне не желал убивать или даже заключать в тюрьму своих противников.

Далее был пакт с Гитлером, заключённый тогда, когда все попытки отсрочить войну, казалось, потерпели неудачу.

Наконец, последовали послевоенные решения использовать европейский хаос, чего бы это ни стоило.

От начала до конца мы видим лишь импровизации на одну простую тему.

Сначала она выражалась смутно, затем всё яснее и громче: выживание, а потом прославление Советского Союза.

Значение этой темы со всей драматической ясностью открылось миру в августе 1939 года, когда в атмосфере необычайного веселья, до тех пор невиданного в Кремле, Молотов подписал пакт с фон Риббентропом.

Но сама эта идея была официально сформулирована лишь после победы в войне, когда Советский Союз превратился в господствующую державу.

Тогда прозвучало требование, чтобы первой обязанностью всех коммунистов мира стала верность Советскому Союзу.

Сталинизм достиг своей вершины.

Программа Коммунистической партии Советского Союза, цель нашей борьбы и принципы советской внешней политики совпадают с общим направлением развития человечества.

Высшие интересы всех народов мира совпадают с интересами советской политики.

В нашу эпоху, когда все дороги ведут к коммунизму, все, кто выступает за Советский Союз, исторически правы.

Все, кто выступает против Советского Союза, исторически неправы.

Они пытаются остановить колёса истории.

Сделать это невозможно, и все, кто попытается, будут сломлены и раздавлены поступью истории.

Каждая победа нашего Советского Отечества является победой прогресса и мира.

Таково наиболее свежее авторитетное изложение идеологического основания этого притязания.

Оно было опубликовано в официальном советском историческом журнале «Вопросы истории» в январе 1950 года.

Можно возразить, что ничего нового здесь нет: Ленин также ожидал, что коммунисты всего мира будут обращаться за указаниями к московскому Центральному комитету.

Это верно.

Но Ленин всё ещё мыслил в категориях Коммунистического интернационала со штаб-квартирой в Москве, а не Советского Отечества.

В те времена коммунисты во всём мире должны были исполнять указания Москвы, чтобы ускорять революции в собственных странах.

Сегодня от коммунистов всего мира требуют поставить себя на службу Советскому государству — великой державе среди других великих держав.

Между этими двумя положениями существует различие, что ясно показало отношение Кремля к маршалу Тито.

Современные коммунисты и даже противники коммунизма часто не замечают этого различия.

Им кажется совершенно естественным, что коммунисты должны обращаться к Москве, подобно тому как все христиане когда-то обращались к Риму.

Однако при этом упускаются два обстоятельства.

Во-первых, верность Риму основывалась, согласно общепринятому представлению, на божественном установлении.

Во-вторых, Рим не объявлял себя столицей светской державы, стремящейся господствовать над другими светскими государствами.

Употребление выражения «Советское Отечество» в только что процитированном отрывке является расчётливым и намеренным.

Нетрудно проследить путь от первых лет Коминтерна к прославлению Великороссии, лишь слегка замаскированной под Советский Союз и уже совершенно не скрывающейся под именем Коммунистической партии.

Этот процесс, как уже говорилось, начался с выступления Сталина перед руководителями промышленности в феврале 1931 года.

В этой речи он отбросил привычные ссылки на революцию и, страстно призывая к предельному напряжению сил, обратился к русскому патриотизму:

Нет, товарищи... снижать темпы нельзя!

Напротив, мы должны их максимально ускорить, насколько позволяют наши силы и возможности.

Этого требуют наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР.

Этого требуют наши обязательства перед рабочим классом всего мира.

Снизить темпы — значит отстать.

А отставших бьют.

Но мы не хотим быть битыми.

Нет, не хотим!

История России, продолжал Сталин, была историей поражений, вызванных её отсталостью:

Её били монгольские ханы.

Её били турецкие беи.

Её били шведские феодалы.

Её били польско-литовские паны.

Её били англо-французские капиталисты.

Её били японские бароны.

Все били её за отсталость — за военную отсталость, культурную отсталость, политическую отсталость, промышленную отсталость, сельскохозяйственную отсталость.

Её били потому, что это было выгодно и сходило безнаказанно.

Вы помните, — продолжал он, — слова дореволюционного поэта:

«Ты и убогая,

Ты и обильная,

Ты и могучая,

Ты и бессильная,

Матушка-Русь».

Мы отстали от передовых стран на пятьдесят — сто лет.

Мы должны пробежать это расстояние за десять лет.

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

Как оказалось впоследствии, до испытания Сталину оставалось ровно десять лет и пять месяцев.

Совершенно очевидно, что к моменту этого выступления, открывшего путь к переписыванию русской истории, у Сталина уже начинало формироваться окончательное представление о себе как о посланном свыше вожде.

Полагаю, следует согласиться с господином Дойчером, писавшим, что Сталин «видел себя не современным фараоном, а новым Моисеем, ведущим избранный народ через пустыню».

Дойчер далее для сравнения приводит слова Маколея о Кромвеле и круглоголовых:

Эта необыкновенная группа людей состояла по большей части из ревностных республиканцев.

Поработав свою страну, они сумели убедить себя в том, что освобождают её.

В наиболее почитаемой ими книге имелся пример, на который они часто ссылались.

Невежественный и неблагодарный народ, конечно, роптал против своих освободителей.

Но ведь и другой избранный народ роптал против вождя, который тяжёлыми и унылыми путями вывел его из дома рабства в землю, текущую молоком и мёдом.

Однако тот вождь спас своих братьев вопреки их собственной воле и не побоялся жестоко наказать тех, кто презирал предложенную свободу и тосковал по египетским котлам с мясом, надсмотрщикам и идолам.

Патриотическая идея, к которой теперь обращался Сталин, противоречила всему учению марксизма-ленинизма.

Ведущим советским историком того времени был Покровский, переписавший историю России в марксистском духе.

Для него история царей была неотличимой частью всеобщей истории, не имевшей самостоятельного значения и представлявшей интерес лишь постольку, поскольку в ней можно было показать действие марковского «железного закона».

С революцией народ России якобы родился заново.

Чем мрачнее изображалось прошлое, тем ярче должно было сиять будущее.

Сталинское представление о царях как о доблестных защитниках отсталого народа от иностранных захватчиков было совершенно новым для людей, которых четырнадцать лет учили, что цари являлись гнусными угнетателями, паразитировавшими на беспомощных подданных в союзе с правителями всего мира.

Кроме того, в истолковании Покровского совершенно исчезали все животрепещущие вопросы, которые на протяжении многих поколений разделяли русских и должны были продолжать разделять их, поскольку вырастали из глубочайших народных инстинктов.

Прежде всего это относилось к уже рассмотренному противостоянию между Святой Русью и ослепительным Западом.

Прошлое как сила, формирующая настоящее, представляло собой полную пустоту.

Процитируем доктора Клауса Менерта:

Таким образом, дореволюционная Россия в изображении школы Покровского напоминала тюрьму, в которой народ томился под жестоким и грубым деспотизмом царей.

Для представителей этой школы старые споры, два столетия раскалывавшие русскую интеллигенцию, — вопрос о том, принадлежат ли русские к Западу или представляют собой особый народ, — просто не существовали.

Покровский одинаково отвергал и капиталистический Запад, и империалистические фантазии славянофилов.

Для него рассвет человечества начинался с большевистской революции.

Именно это оставалось официальной линией Советского Союза до 1934 года.

В своём замечательном очерке «Мировая революция посредством всемирной истории» доктор Менерт тщательно и с обстоятельной документацией прослеживает всё рассматриваемое нами развитие.

Однако, поскольку он подходит к вопросу исключительно с точки зрения советской исторической науки, возрождение русской идеи он датирует разгромом школы Покровского в 1934 году.

Мы уже видели, что ещё в 1931 году Сталин сделал это событие неизбежным, произнеся перед руководителями промышленности политическую речь о пятилетке, которая полностью противоречила марксистскому пониманию истории.

Но стоит обратить внимание на то, что ещё три года прежде учение продолжало существовать без каких-либо помех.

Сталин посеял семя новой идеи, но в течение трёх лет оно, по-видимому, оставалось незамеченным. Затем внезапно начались перемены.

Это не единственный пример того, как противоречие между высказываниями Сталина и общепринятой советской практикой долгое время оставалось неразрешённым.

Иногда об этом следует помнить и сегодня.

В том же 1931 году, когда Сталин посеял своё семя, другой историк — Евгений Тарле — подвергся ожесточённой травле как «русский буржуазный историк, империалист, шовинист Первой мировой войны и идеологический лакей империалистического фронта против Советского Союза».

Причиной было то, что в его трудах появились признаки истолкования русской истории, сходного с тем, для которого Сталин уже готовил почву.

В следующем году Покровский умер.

Ему устроили государственные похороны и со всеми почестями погребли в пантеоне советских героев — в Кремлёвской стене за мавзолеем Ленина.

Затем в течение двух лет ничего не происходило.

Но неожиданно Кремль издал постановление, предавшее недавнего героя анафеме.

Его труды были запрещены, а сам он объявлен «врагом народа, презренным троцкистским агентом фашизма».

На освободившееся место вступил Евгений Тарле, которому, судя по всему, чрезвычайно повезло остаться в живых после публичного разгрома трёхлетней давности.

Так под руководством недавнего «идеологического лакея империалистического фронта против Советского Союза» немедленно началось преобразование русской истории.

Профессор Тарле и сегодня, достигнув глубокой старости, благополучно пребывает с нами и участвует почти в каждом конгрессе сторонников мира.

Сталин использует его, как использовал в научной сфере покойного Сергея Вавилова, для пропаганды идей, ушедших очень далеко от первоначальной смены курса, когда-то предоставившей Тарле великий шанс.

В 1931 году произошло ещё одно событие.

Как указывает доктор Менерт, в язык вернулись два слова, долгое время находившиеся под запретом.

Первым было слово «родина».

Лучше всего перевести его на английский как *fatherland*, хотя точного английского соответствия оно не имеет.

В нём заключён образ земли, дающей жизнь, и по смыслу оно совершенно не связано со словом «отечество», часто употреблявшимся в выражении «отечество социализма».

Вторым вернувшимся словом был «патриотизм».

Оба слова появились в передовой статье «Правды», прославлявшей советского гражданина как борца «за родину, за её честь, славу, могущество и благополучие».

«Защита родины, — добавляла “Правда”, — является высшим законом жизни».

Тем временем новым историкам поручили переписывать историю в духе, по существу антимарксистском, хотя по-прежнему изложенном марксистским языком.

Потребовалось пять лет, прежде чем концепция Покровского была официально и подробно разрушена.

Пока же идеи родины и патриотизма уже прочно укоренились, а первой задачей историков стало развитие представления о великом человеке.

Сталину требовались прецедент и историческая родословная.

В качестве великих людей и символических фигур были избраны прежде всего Иван Грозный и Пётр Великий.

Их биографии следовало переписать так, чтобы оба предстали прямыми предшественниками Сталина.

Они изображались русскими государственными деятелями, обладавшими безграничной дальновидностью и взявшими на свои плечи бремя превращения неорганизованной мощи русского народа в единую и закалённую силу, способную противостоять нападениям завистливого и вероломного мира.

Главным их врагом была измена.

Ради её искоренения они не останавливались перед самыми суровыми мерами.

Из-за этих мер непонимающий мир незаслуженно считал их тиранами и жестокими правителями.

Лишь теперь, поднявшись благодаря Сталину на такую высоту, русский народ якобы получил возможность оглянуться назад и, опираясь на вновь обретенное единство, оценить огромную роль этих великих людей, заложивших основы великой и гордой нации.

Одним из важнейших произведений этого направления стала биография Ивана Грозного, написанная профессором Виппером.

Виппер начал писать об Иване ещё в 1922 году, придерживаясь принятого тогда подхода.

В 1942 году он выпустил переработанную редакцию, сопроводив её скромным примечанием, совершенно не показывающим неискушённому читателю масштаб революции, произошедшей в его собственных взглядах:

Первое издание моего очерка «Иван Грозный» вышло в 1922 году.

Появившиеся впоследствии новые источники и оригинальные труды историков СССР побудили меня переработать свою работу и опубликовать её в новом, расширенном издании.

Общее направление нового истолкования лучше всего передаёт критика Виппером историков XIX века, одновременно являющаяся критикой его собственных прежних взглядов:

Все эти исследователи страдают недостатком, сыгравшим роковую роль в формировании репутации Грозного.

Они были совершенно равнодушны к росту Московского государства, его великой объединительной миссии, широким замыслам Ивана IV, его военным нововведениям и блестящей дипломатии.

В известной мере эти судьи Ивана Грозного напоминают Сенеку, Тацита и Ювенала, которые в своих резких нападках на римских деспотов сосредоточивали всё внимание на придворной и

столичной жизни и оставались безразличны к огромным пространствам, пограничным областям, внешней безопасности и славе прославленной империи.

Эти слова, которые вполне могли бы появиться в умело составленном оправдании Сталина, были опубликованы, как уже говорилось, в 1942 году.

Понадобилась война, чтобы они были высказаны открыто.

Точно так же понадобилась война, чтобы Сталин смог предстать верховным вождём своей страны — Советского Отечества.

Но почва была подготовлена заранее.

Поэтому возвращение армии в 1942 году к золотым погонам, восстановление гвардейских частей и учреждение новых орденов, названных в честь святых воинов и царских полководцев, не было результатом внезапного оппортунистического решения.

Всё это было тщательно продумано.

И внешний мир, и русский народ совершенно справедливо полагали, что Сталин отошёл от марксизма и возрождает старую имперскую идею, занимая в ней место царя в качестве великого Вождя.

Наша ошибка состояла в том, что мы приписывали этот процесс исключительно напряжению военного времени.

Вернее было бы сказать, что война дала Сталину возможность открыто и безоговорочно вернуться к русской идее, а не вынудила его это сделать.

К такому возвращению его уже принудила вся чудовищная тяжесть России.

Но он находился в положении неверующего архиепископа Кентерберийского, ставшего пленником собственного духовенства.

Овчарки были обучены определённым методам и целям.

Ничего другого они не знали.

Методы и цели в сознании пастуха менялись, но других собак у него не было.

В условиях войны, когда поведение немцев сделало для русского народа невозможным что-либо иное, кроме сопротивления, — хотя потребовалось больше года, прежде чем это стало общим правилом, — Сталин смог в простом и понятном деле борьбы с иностранным захватчиком в значительной мере обойтись без сложного аппарата принуждения, предоставленного партией.

Он сумел сплотить народ вокруг себя как верховного военного вождя.

Но когда война закончилась и пришлось снова вернуться к прежней мирной каторге, одной фигуры Сталина стало недостаточно.

Весь аппарат партии и полиции потребовалось очистить, восстановить и укрепить.

Затем последовал этап, который в большей степени, чем что-либо другое, лежит в основе нашего нынешнего непонимания подлинного образа мыслей Сталина: шумное возвращение к ленинскому учению.

Боевые знамёна убрали.

Победоносных генералов удалили из поля зрения общественности.

Особенно примечательно, что «Исторический журнал», находившийся в авангарде националистического движения с момента разгрома Покровского, был закрыт.

Его заменил новый журнал под названием «Вопросы истории».

В первом выпуске, появившемся в январе 1945 года, журнал официально подверг критике «тенденцию к великодержавному шовинизму», внезапно обнаруженную в его предшественнике.

Редакция пообещала обратить вспять процесс возвращения «буржуазных представлений в изложение истории развития Российского государства».

Предшественника обвиняли в том, что он «отрицал революционное значение крестьянских движений, идеализировал деятелей самодержавного строя и отказывался от классового анализа исторических явлений».

В 1946 году Сталин произнёс знаменитую речь — единственную после победных выступлений 1945 года.

В ней он представил войну в ленинской перспективе, предупредил слушателей, что поражение Германии не означает прекращения всех войн, обратился к марксистскому пониманию природы войны и наметил программу нового промышленного рывка:

Понадобятся ещё три пятилетки, я думаю, если не больше...

Только при этих условиях можно считать, что наша родина будет застрахована от всяких случайностей.

Эта речь, как и многое из последовавшего за ней — прежде всего создание Коминформа, — прозвучала в самое неудачное время для правильного понимания России.

Я говорю это потому, что лишь в течение последних четырёх лет политики и государственные чиновники начали читать советские священные тексты.

Видимое возвращение Сталина к основным принципам ленинизма совпало с популяризацией его собственных ранних трудов об этих принципах, включая долгосрочную стратегию мировой революции.

Видимое возвращение Сталина к данным принципам полностью соответствовало тому, чего следовало ожидать после чтения этих произведений без понимания российских условий.

Это было воспринято как окончательное доказательство существования единого генерального плана, лежавшего в основе всех отступлений последних тридцати лет.

Из этого следовал вывод, что всё сделанное Сталиным с 1924 года и всё, что он сделает впредь, является частью данного плана.

В результате мы сами довели себя до истерики, испугавшись химеры, созданной собственным воображением.

В следующем разделе я постараюсь показать, что в свете последних действий Советского Союза идея единого генерального плана совершенно не выдерживает критики.

Но пока мы всё ещё рассматриваем идеи.

На мой взгляд, существовали три самостоятельные и серьёзные причины публичного возрождения ленинского учения после войны.

Партия — по крайней мере её лучшая часть — всё ещё верила в марксизм-ленинизм.

Верила в него и советская пятая колонна, действовавшая через коммунистические партии по всему миру.

Чтобы прочно овладеть странами, вошедшими в новую советскую сферу влияния в Восточной Европе, Сталину требовалось использовать местных коммунистов.

Их не интересовала слава России.

Они стремились к продвижению ленинской революции в собственных странах.

Чтобы поставить их службу на пользу Сталину, необходимо было обращаться к ним на языке, который они понимали лучше всего.

Таким языком был ленинизм.

Кроме того, хотя, как я постараюсь показать далее, концепция холодной войны окончательно сформировалась лишь в 1947 году и то под давлением событий, нет сомнений, что Сталин видел в коммунистических партиях Запада чрезвычайно ценные средства в общей борьбе за славу и безопасность Советского Союза.

Господ Тольятти и Тореза Москва не напрасно поддерживала в постоянной боевой готовности.

Вместе с тем важно помнить, что агенты, подготовленные Москвой, могут использоваться своим хозяином для целей, совершенно отличных от тех, которым, по их собственному убеждению, они служат.

Сталин остаётся марксистом в той мере, в какой он одержим процессами распада современного капиталистического общества.

Он также убеждён, что его неустойчивость, выражающаяся в подъёмах и кризисах и в отчаянной борьбе за рынки, рано или поздно должна привести к войнам за выживание в мире конкурирующих держав.

Таково, несомненно, марксистское учение.

Но вовсе не обязательно быть марксистом-ленинцем, чтобы видеть, например, что одним из важных факторов возвышения Гитлера стала американская политика, предусматривавшая неограниченный экспорт при ограниченном импорте, — политика, связанная с проблемой перепроизводства.

Человек, получивший марксистское воспитание, неизбежно будет видеть прежде всего «внутренние противоречия» капиталистического мира, заслоняющие от него все остальные стороны этого мира. Именно в этом, и только в этом смысле, Сталина всё ещё можно называть марксистом.

Вторая причина открытого возвращения к ленинизму состояла, как уже говорилось, в том, что внутри страны Сталину требовалась дисциплинированная организация с закалённым остриём и верой, более цельной и действенной, чем простая любовь к родине.

Этот инструмент был необходим, чтобы провести Россию через тяжёлые годы жертв, которые ей ещё предстояли, прежде чем она смогла бы считать себя защищённой от всякого внешнего вмешательства.

Единственной доступной организацией была Коммунистическая партия.

Существовал лишь один способ сделать её более действенной и осознающей собственную миссию: призвать на помощь ленинскую традицию.

Иными словами, чистка партии и обновление её первоначальной идеологии были по существу евангелическим движением, своего рода возрождением веры, организованным в политических целях человеком, который сам в эту веру не верил.

Как уже отмечалось, Ленин создал множество прецедентов подобного поведения.

То же самое на протяжении истории делали религиозные и светские власти всех стран мира.

Не напрасно Сталин усвоил у Маркса, что религия может быть орудием управления.

Но вместо опиума Сталин дал своему народу бензедрин [стимулирующее средство – прим.перев.].

Третья причина заключалась в том, что Сталину необходимо было думать о будущем.

К концу войны ему было всего шестьдесят пять лет.

Но он прожил жизнь в почти невыносимом напряжении, а война состарила и утомила его.

В конце 1946 года он тяжело заболел, хотя болезнь скрывали.

Обладая телосложением кавказского разбойника, он мог прожить ещё тридцать лет.

Но с таким же успехом мог умереть в любой момент.

Он был патриотом России.

Даже на самом низком уровне человеческих чувств человек, который так много работал и боролся, чтобы превратить Советский Союз в великую державу, не пожелал бы после своей смерти увидеть его крушение, даже если главным мотивом его действий было личное честолюбие.

Есть веские основания считать, что с 1946 года Сталин всё больше размышлял о будущем Советского Союза в руках преемников.

И здесь снова решающую роль играла партия.

Личное положение Сталина и связанное с ним поклонение Отцу невозможно было передать одному человеку.

Следовательно, независимо от его представлений о сравнительном значении ленинизма и русского национализма, после смерти он должен был передать власть партии или назначенным им лицам, действующим от имени партии.

А партия должна была находиться в достаточно хорошем состоянии, чтобы принять это наследство. Возможно, это самая основополагающая из всех причин публичного возвращения к ленинизму.

Сталин оказался в положении великого предпринимателя, создавшего собственную фирму.

Сначала он управлял ею при помощи общепринятых деловых методов, а затем стал полностью полагаться на собственную интуицию, подкреплённую несгибаемой волей.

Его интуитивные решения нередко прямо противоречили признанным правилам ведения дел.

Он понимал недостаточность этих правил, но знал, что должен оставить предприятие в руках людей, лишённых его гения.

Поэтому перед смертью он старался привести фирму в надлежащий и респектабельный порядок.

Именно этим Сталин занимается сейчас, хотя положение безнадежно запутано напряжением холодной войны.

Однако всё это время за ленинской пропагандой спокойно продолжается работа по освобождению великорусского патриотизма от оков марксизма.

Переписывание истории продолжается и вступило в новую фазу.

Идея великого человека утвердилась прочно и уже не будет отброшена.

Так же прочно утвердилась идея советского патриотизма.

Но Сталин ушёл далеко от тех времён, когда, заставляя народ приносить новые жертвы, подчёркивал традиционную отсталость России.

Теперь перед историками стоят две задачи.

Во-первых, вместо того чтобы изображать историю дореволюционной России лишь одной из сторон тёмной ночи страданий всего человечества, необходимо доказать, что Россия всегда занимала особое, уникальное место в человеческой драме.

Необходимо показать, пользуясь любимым выражением Сталина, что революция не случайно впервые произошла именно в России.

Она пришла в Россию первой потому, что русские с начала времён были первыми во всём, являясь путеводным духом страдающего человечества с самого его далёкого возникновения, своего рода Утешителем.

И это было доказано.

Современные сталинские историки дошли почти до невероятных крайностей, стремясь обосновать данную мысль.

«История СССР» Панкратовой начинается с ассирийцев и халдеев.

Русский народ возводится к самой колыбели цивилизации на том основании, что месопотамские культуры имели ответвления в Закавказье, которое является частью Советского Союза.

Варяжское господство над Киевской Русью в X веке, положившее начало России как единому историческому явлению, изображается незначительным эпизодом в долгой и «прогрессивной» истории восточных славян.

Скифы представляются кровными предками современного советского гражданина.

Они изображаются не варварской ордой, уничтожавшей древние культуры, а первыми освободителями угнетённых рабских классов.

Царский империализм объясняется таким образом, что вовсе перестаёт быть империализмом.

Основание для этого простое: завоевание, совершённое исторически передовой державой, считается не завоеванием, а освобождением.

Так, изобретательная госпожа Панкратова писала об одном из самых кровавых эпизодов русской истории — подчинении Казахстана:

Вовлечение Казахстана в сферу влияния России, уже вступившей на путь капиталистического развития, оказало прогрессивное воздействие на дальнейшее развитие Казахстана.

Это идея «бремени белого человека», переведённая на околомарксистский язык.

Ещё более изобретательно историк Абрамсон возражает против утверждения, будто киргизские племена были «завоёваны вопреки их воле».

Напротив:

Объединившись с Россией, киргизский народ приблизился к революционным элементам русского народа именно в тот момент, когда на историческую сцену вышел самый революционный в мире пролетариат — русский.

Даже захват более развитых культур, например Польши XVIII века, включается в общую теорию освобождения.

Утверждается, что, хотя поляки, возможно, превосходили русских по уровню культуры, их включение в состав России в тот исторический момент было необходимо, чтобы сама Россия могла свободно направить свою благотворную энергию на освобождение отсталых народов Азии.

Впрочем, от этого последнего довода, по-видимому, вскоре откажутся.

Вместо этого будут отрицать, что польская культура вообще превосходила русскую.

В момент написания этой книги наиболее выгодным занятием советских историков стало перенесение на более ранние сроки — иногда на несколько столетий — всех важнейших этапов развития России.

Например, начало феодализма у славян уже перенесено в VI век, что позволяет им опередить Западную Европу.

Период просвещённого абсолютизма перенесён со времён Екатерины и Фридриха ко времени Петра.

Возникновение капитализма отнесено ко второму десятилетию XVIII столетия — значительно раньше развития капитализма на Западе.

По мере продолжения этого процесса всё легче становится изображать русский империализм как систему международной защиты.

Вторая задача историков заключается в том, чтобы возвести великорусский народ, потомков Московии, в особое положение внутри Советского Союза.

И здесь направление снова указал Сталин — на кремлёвском банкете в честь победы над Гитлером: Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.

Я хотел бы выпить за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа.

Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что в этой войне он заслужил общее признание как выдающаяся нация среди всех народов, входящих в Советский Союз.

Я пью за здоровье русского народа, потому что в этой войне он заслужил всеобщее признание среди народов нашей страны как руководящая сила Советского Союза.

Я пью за здоровье русского народа не только потому, что он обладает руководящими качествами, но и потому, что ему свойственны ясный ум, твёрдый характер и терпение.

Русский народ верил в правильность политики своего правительства и приносил жертвы ради разгрома Германии.

Это доверие русского народа к советскому правительству оказалось решающей силой, обеспечившей победу над историческим врагом человечества — фашизмом.

Мы благодарим русский народ за это доверие!

За здоровье русского народа!

Эта речь была произнесена 24 мая 1945 года в прекрасном белом Георгиевском зале Кремля.

Перед Сталиным находились избранные представители Советского Союза.

Мы не знаем, что чувствовали сидевшие в зале украинцы, белорусы, казаки и армяне, слушая его слова.

Но можем догадаться.

Это прославление господствующего народа СССР — великороссов — и возвышение его над всеми остальными народами Союза означало открытое возвращение к старому великорусскому империализму с его своеобразным мессианским оттенком, уже рассмотренным в одной из предыдущих глав.

Одновременно речь представляла собой официальное отрицание знаменитых принципов самого Сталина в отношении национальностей, которые в своё время привлекли к нему внимание Ленина и фактически уже много лет не соблюдались.

Таким образом, Сталин и его историки совместными усилиями подготовили почву для более или менее открытого возвращения к великорусской экспансионистской политике, хотя некоторое время её ещё предстояло проводить не слишком заметно.

Московия, вооружившись марксистским жаргоном, должна была оправдывать себя как освободительный процесс, действующий во всём мире.

Россия являлась освободительной силой внутри Советского Союза.

Советский Союз являлся освободительной силой во всём мире.

Я уже сказал достаточно, чтобы показать: в советской практике партийной линии очень часто намеренно позволяют отставать от мыслей Сталина.

Русская идея не только продолжает существовать.

Она была изменена и уточнена, а весь аппарат партии и полиции поставлен ей на службу.

Иными словами, партия теперь полностью занята выполнением задачи, прямо противоположной всему, что она официально провозглашает.

Сталин и в большей или меньшей мере его ближайшие советники, обученные Лениным остро замечать «внутренние противоречия», прекрасно это понимают.

Но партия в целом пока этого не знает.

Однако предупреждение она уже получила.

Оно содержалось в фантастическом эпизоде, связанном с филологом Н. Я. Марром.

В ходе этого эпизода сам Сталин выступил с длинным, туманным и необыкновенным заявлением, внешне посвящённым вопросам языкознания.

Как мне представляется, в следующем десятилетии и, возможно, ещё дольше оно окажется столь же радикально значимым, каким лозунг «социализм в одной стране» был для 1930-х годов.

Этот эпизод произошёл накануне Корейской войны.

Для внешнего мира его сразу заслонили сообщения с фронтов — из Лейк-Саксеса и с 38-й параллели.

Но в самой России он не был забыт.

В долгосрочной перспективе его последствия могут оказаться важнее последствий дюжины несчастных Корей.

Поэтому ему необходимо посвятить отдельную главу.

Глава 5 Поразительная история Н.Я.Марра

Профессор Н. Я. Марр, умерший в 1934 году, был сыном шотландца и грузинки. Он принадлежал к числу наиболее почитаемых учёных Советского Союза и считался крупнейшим советским филологом.

До лета 1950 года память о нём окружалась глубоким уважением, а его теория языка после войны была провозглашена одной из основ советской науки.

Особенно полезной она оказалась в великой борьбе против «формализма» в искусстве и науке, а также в обосновании новой советской идеи о возможности подчинить человеку сами законы природы. Наиболее ярким воплощением этой идеи служили биологические теории академика Лысенко, отрицавшего существование неизменных наследственных признаков и утверждавшего, что при специально созданных условиях воспитания и среды можно выводить новые виды.

Если пользоваться привычными марксистскими категориями, язык, согласно Марру, являлся частью общественной надстройки и менялся вместе с обществом. Подобно политическим, правовым, религиозным, художественным и философским явлениям определённого общества, он представлял собой продукт господствующего в данный момент класса.

Из этого следовало, что при социалистическом строе язык должен измениться, а в социалистическом обществе, охватившем весь мир, постепенно превратиться в единый мировой язык.

Именно это убеждение, между прочим, лежало в основе необычайной изобретательности в создании искусственных слов, отличавшей первые годы большевизма.

Сам Марр писал:

В нынешний момент революционного творчества совершенно нелепо говорить о реформе алфавита и грамматики русского языка...

Речь вовсе не идёт о реформе. Речь идёт о коренной перемене наших речевых привычек, о переводе самого языка на новый путь, ведущий к подлинно массовому языку.

Требуется не новая форма и не реформа, не новое вино в старых мехах.

Требуется новый каркас, способный нести новое здание языка, пригодного не только для всего Советского Союза, но и для всего мира.

Сталин также совершенно определённо высказывался в этом духе на XVI съезде партии, где говорил о слиянии всех языков в один общий язык.

Таким образом, профессор Марр пользовался самой высокой поддержкой, какую только можно было получить.

И вдруг всё изменилось.

Первый предвестник грозы прозвучал 19 мая 1950 года, когда «Правда» без видимых причин вышла в расширенном объёме и объявила, что вопрос советского языкознания приобрёл такую остроту, что откладывать его обсуждение больше невозможно.

В номере была опубликована длинная и утомительная дискуссия различных специалистов о языкознании вообще и о профессоре Марре в частности.

Взрыв последовал 20 июня.

В то утро вся Россия обнаружила, что ровно половина очередного номера «Правды» заполнена набранной мелким шрифтом статьёй самого Сталина на тему, о которой большинство читателей прежде никогда не слышало, поскольку мало кто читал академическую дискуссию от 9 мая [опечатка в оригинале – прим.перев.].

Речь шла о профессоре Марре, или, как называл его Сталин, Н. Я. Марре, и о его теории языка.

В статье было десять тысяч слов — материала на двухчасовую лекцию.

Девять тысяч слов не говорили почти ничего.

Но оставшаяся тысяча предвещала революцию в развитии Советского Союза.

После этого главного залпа Сталин вновь вернулся к теме в серии «ответов» любознательным молодым товарищам.

В одном из таких «ответов» характер этой революции был наконец сформулирован открыто.

Воздействие всей истории на советскую интеллигенцию было огромным.

Обычный русский человек совершенно не понимал, о чём идёт речь, кроме одного: происходило нечто эпохальное.

Эпохальность была очевидна уже потому, что Сталин впервые за четыре года нарушил молчание.

Правда, за это время появилось несколько его письменных ответов иностранным журналистам — о войне и мире, американских экономических кризисах и возможности сосуществования.

Но все они совершенно явно служили лишь тому, чтобы поддерживать международную политическую игру, и никакой иной цели не имели.

Теперь же происходило нечто иное.

Прикрываясь туманной дискуссией о языкознании, Сталин сообщал нечто чрезвычайно важное, однако никто не мог понять, что именно.

По ходу дела он высказал несколько замечаний, вызвавших панику среди руководителей советской мысли.

Он выступил против «антиформализма» профессора Марра.

Это встревожило писателей и учёных, построивших всю свою карьеру на антиформалистской линии Жданова и Лысенко, и повергло в уныние тех, кому было всё равно, но кто по крайней мере считал, что понимает установленные правила.

Сталин осудил самоуправство учеников Марра, назвав созданный ими порядок «аракчеевским режимом».

Он сделал это словами, которыми любой иностранный учёный мог бы охарактеризовать советскую науку в целом и которые все советские представители интеллигенции, в какой бы области они ни работали, неизбежно должны были отнести и к самим себе.

Но всё это было второстепенным.

Главная цель статьи заключалась в том, чтобы подготовить почву для официального признания относительности марксизма.

В первом необыкновенном документе Сталин ещё не решился заявить об этом прямо.

Основная часть статьи была посвящена доказательству ошибочности представления Марра о языке как части общественной надстройки и, следовательно, как явлении, подверженном коренным переменам.

Сталин утверждал, что язык относится к базису и потому является устойчивой величиной.

Лишь самые проницательные могли предвидеть следующий шаг, вытекавший из этой позиции.

Сталин оставил несколько намёков.

Он писал в необычайно добродушном тоне, изображая ласкового дядюшку с весёлым огоньком в глазах, чего прежде за ним не замечалось.

«Группа товарищей молодого поколения, — начинал он, — попросила меня высказаться в печати по некоторым вопросам языкознания, особенно по вопросу о марксизме в языкознании. Сам я не языковед и, конечно, не могу рассказать товарищам всё, что их интересует. Но что касается

марксизма в языкознании, то здесь я имею самое непосредственное отношение к делу. Поэтому я согласился ответить на ряд вопросов товарищей...»

Именно в таком тоне, достигнув середины рассуждения, Сталин приближается к настоящей цели своей статьи и высмеивает так называемых марксистов, слишком слепо цепляющихся за букву книги:

В своё время у нас были «марксисты», утверждавшие, что железные дороги, оставшиеся в нашей стране после Октябрьской революции, представляют собой буржуазное произведение и потому нам, марксистам, неприлично продолжать ими пользоваться.

Они предлагали разобрать их и построить вместо них новые, «пролетарские» железные дороги.

За это мы прозвали таких людей «троглодитами».

Рассуждая о том, происходит ли развитие общества резкими скачками и взрывами, как учил Маркс в своей теории насильственной революции, или же идёт непрерывно и постепенно, Сталин подготавливал читателей к мысли, что всё относительно — даже Карл Маркс:

Следует вообще сказать, к сведению товарищей, питающих особую слабость к взрывам, что закон перехода от старого качества к новому посредством взрыва неприменим не только к истории развития языков.

Он далеко не всегда применим и к другим общественным явлениям, относящимся к базису или надстройке.

Он обязателен для общества, разделённого на враждебные классы.

Но он вовсе не обязателен для общества, в котором враждебных классов нет.

И всё же общее впечатление от этого монументального вклада в отдел писем «Правды» оставалось загадочным.

Сталин явно что-то начинал, но понять, что именно, было невозможно.

Совершенно ясно было одно: он укреплял свои прежние утверждения об особом значении русского народа и русского наследия.

Самая очевидная мысль его статьи заключалась в том, что русский язык принадлежит всем временам и не будет искажён ради создания гипотетического мирового языка.

Если вспомнить прежнее возвышение Сталиным русского народа, вполне можно было заключить, что теперь он призывал вернуть русскому языку положение общего языка Советского Союза.

На самом деле это вполне соответствовало последним тенденциям в союзных республиках, где под тем или иным предлогом русский язык всё чаще становился языком школьного преподавания.

Было также ясно, что Сталина тревожила чрезмерная жёсткость, с которой после ждановской чистки в искусстве и лысенковской чистки в науке новая линия проводилась в среде интеллигенции, почти полностью парализуя работу некоторых наиболее талантливых людей России.

Но при всём желании невозможно было поверить, что краткое наставление о долговечности русского языка и осуждение нового раболопия в науке требовали столь грандиозного аппарата околomarксистского толкования.

Поэтому письмо от 20 июня вызвало панику, брожение и оставило после себя тревожный вопрос.

Ответ был дан не сразу.

Однако через десять дней Сталин вновь обратился к этой теме, на сей раз на страницах партийного двухнедельника «Большевик», где партийная линия обычно излагалась в её первоначальной тонкости и сложности, прежде чем «Правда» упрощала её для народных масс.

Продолжая изображать весёлого дядюшку, Сталин опубликовал длинное письмо представителю молодого поколения, на этот раз названному по имени, — молодой женщине, товарищу Крашенинниковой.

Но нового в нём было немного.

Лишь через месяц, во втором июльском номере «Большевика», стало понятно, в чём заключался смысл всей этой истории.

На этот раз были опубликованы три отдельных ответа на три письма с вопросами.

Решающее значение имел последний.

«Дорогой товарищ Санжеев, — начиналась серия ответов в ещё более весёлом тоне, — отвечаю на ваше письмо с большим опозданием, потому что лишь вчера аппарат Центрального комитета передал его мне...»

Товарищ Санжеев, вероятно, самый изумлённый молодой человек во всей России, получил добрую и мудрую лекцию от великого человека, который из кремлёвской твердыни мог подмигнуть ему, посетовав на бюрократические проволочки самого святого святых.

В следующем письме товарищи Белкин и Фурер получили резкую профессорскую отповедь.

Это должно было показать, что великий человек, при всей своей любви к ученикам, не намерен терпеть глупостей:

Товарищи Д. Белкин и С. Фурер!

Я получил ваши письма.

Ваша ошибка заключается в том, что вы смешиваете две разные вещи и подменяете вопрос, рассмотренный мною в письме товарищу Крашенинниковой, совершенно другим вопросом...

В том ответе я говорю о нормальных людях, обладающих языком...

Вы же подставляете вместо них аномальных, лишённых языка людей — глухонемых, у которых языка нет...

Как видите, это совершенно другой вопрос, которого я не касался и не мог касаться, поскольку языкознание изучает нормальных людей, обладающих языком, а не аномальных глухонемых, языка не имеющих...

Очевидно, вас прежде всего интересуют глухонемые и лишь затем вопросы языкознания.

Вероятно, именно этот интерес и побудил вас задать мне ряд вопросов.

Хорошо, раз вы настаиваете, я не возражаю против исполнения вашего желания...

Итак, как обстоит дело с глухонемыми?

Думают ли они?

Возникают ли у них мысли?

Да, они думают, и мысли у них возникают...

И так далее.

Я не мог удержаться от того, чтобы привести этот довольно длинный отрывок, хотя он совершенно не относится к нашему рассуждению.

Мир нечасто видит Сталина играющим.

Впрочем, эта игра, разумеется, была полностью рассчитанной.

Сразу после этой намеренной чепухи, без малейшего предупреждения и без какого-либо особого выделения, появляется ещё одно письмо — на этот раз товарищу Холодову, которому, как говорится, досталось всё целиком.

Цель необыкновенного представления наконец становится ясной.

«Товарищ А. Холодов, — начинает Сталин, — я получил ваше письмо. Отвечаю с некоторым опозданием из-за занятости».

Затем он сразу переходит к сути вопроса с напором, ясностью и решительностью формулировок, совершенно не свойственными его обычному лекторскому стилю, хотя по советским меркам текст всё ещё остаётся довольно тяжеловесным.

Я привожу первые абзацы полностью, поскольку на Западе это заявление осталось незамеченным, хотя, по моему убеждению, оно содержит ключ не только к образу мыслей Сталина, но и к будущему Советской России:

В вашем письме молчаливо содержатся два предположения.

Первое заключается в том, что допустимо цитировать произведение автора в отрыве от исторического периода, к которому относится данная цитата.

Второе — в том, что тот или иной вывод либо формула марксизма, полученные в результате изучения одного периода исторического развития, правильны для всех периодов развития и потому должны оставаться неизменными.

Должен сказать, что оба эти предположения глубоко ошибочны.

Приведу несколько примеров.

1. В сороковых годах прошлого века, когда монополистического капитализма ещё не существовало, когда капитализм развивался более или менее плавно по восходящей линии, распространяясь на новые, ещё не занятые им территории, вследствие чего закон неравномерного развития ещё не мог действовать в полной силе, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что социалистическая революция не может победить в одной отдельно взятой стране, а может победить лишь в результате общего удара во всех или в большинстве цивилизованных стран.

Этот вывод стал тогда руководящим положением для марксистов.

Однако в начале XX века, особенно в период Первой мировой войны, когда всем стало ясно, что домонополистический капитализм явным образом перерос в монополистический, когда восходящий капитализм превратился в капитализм нисходящий, когда война обнаружила неизлечимые слабости мирового империалистического фронта, а закон неравномерного развития стал предопределять созревание пролетарской революции в разных странах в разное время, Ленин, исходя из марксистской теории, пришёл к выводу, что в новых условиях развития социалистическая революция может полностью победить в одной отдельно взятой стране.

Одновременная победа социалистической революции во всех или в большинстве цивилизованных стран стала невозможной вследствие неравномерности созревания революции в этих странах.

Старая формула Маркса и Энгельса более не соответствовала новым историческим условиям.

Как видно, перед нами два различных вывода относительно победы социализма, которые не только противоречат друг другу, но даже исключают друг друга.

Следовательно, догматики и начётчики, которые, не вникая в сущность дела, формально приводят цитаты в отрыве от исторических условий, могут сказать, что один из этих выводов должен быть отброшен как безусловно неправильный, а другой, как безусловно правильный, должен применяться ко всем периодам развития.

Но марксисты не могут не понимать, что эти догматики и начётчики ошибаются.

Они не могут не понимать, что оба вывода правильны, хотя и не абсолютно, а каждый для своего времени:

вывод Маркса и Энгельса — для периода домонополистического капитализма,

вывод Ленина — для периода монополистического капитализма...

После этого письмо постепенно теряет первоначальный напор.

Сталин использует свой новый подход, во-первых, чтобы показать, что знаменитое учение об отмирании государства, изложенное Энгельсом в «Анти-Дюринге», было правильным для той эпохи, но неверно для современной эпохи, отмеченной «капиталистическим окружением» единственной социалистической страны.

Во-вторых, он объясняет собственное изменение взглядов на возможность создания всемирного языка, возвращая рассуждение к исходной точке.

Однако существо всей истории не имеет прямого отношения к несчастному профессору Марру.

Речь идёт об относительности марксизма, выраженной в процитированных выше первых абзацах и в заключительной части письма:

Догматики и начётчики рассматривают марксизм, отдельные выводы и формулы марксизма как собрание догм, которые «никогда» не изменяются, несмотря на изменение условий развития общества.

Они думают, что, если выучат эти выводы и формулы наизусть и начнут цитировать их к месту и не к месту, то смогут решать любые вопросы, рассчитывая, что заученные выводы и формулы пригодны для всех времён и стран и для каждого жизненного случая.

Но так могут думать только люди, которые видят букву марксизма, не понимая его сущности, заучивают наизусть тексты марксистских выводов и формул, но не понимают их содержания.

Марксизм есть наука о законах развития природы и общества, наука о революции угнетённых и эксплуатируемых масс, наука о победе социализма во всех странах, наука о строительстве коммунистического общества.

Марксизм как наука не может стоять на одном месте, он развивается и совершенствуется.

Развиваясь, марксизм не может не обогащаться новым опытом и новыми знаниями.

Следовательно, отдельные его формулы и выводы не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами, соответствующими новым историческим задачам.

Марксизм не признаёт неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов.

Марксизм — враг всякого догматизма.

И. Сталин, 28 июля 1950 года.

Марксизм — это то, чем вы его считаете.

Марксизм — это то, чем вам необходимо его сделать.

Социализм — это то, чем является советское общество.

Коммунизм — это то, чем оно станет.

В сущности, таково великое наследие Сталина его преемникам.

Ловко сказав истину, он приписал Ленину идею «социализма в одной стране» и тем самым включил самого Ленина в этот процесс в качестве прецедента.

А поводом для всего откровения послужило открытие, что язык является неизменной постоянной величиной — по крайней мере «в эпоху до победы социализма во всемирном масштабе».

Язык, о котором говорит Сталин, — это язык Великобритании.

Является ли всё это частью единого генерального плана?

Глава 6 Внутренние противоречия

Развитие, описанное в предыдущей главе, если перенести его в сферу советской внешней политики, ставит нас перед одной из самых любопытных ситуаций, какие только можно вообразить.

В лице одного незаурядного человека мы видим, с одной стороны, самодержавного правителя великой и победоносной державы, который открыто прославляет Советское Отечество, возглавляемое господствующим великорусским народом и черпающее вдохновение в древних деспотических и имперских традициях царей.

С другой стороны, перед нами неприметная фигура генерального секретаря Всесоюзной коммунистической партии, который формально основывает всю свою деятельность на исторической теории, отрицающей особое значение великих людей, привилегированных наций и исторической традиции и провозглашающей своим конечным идеалом всемирную пролетарскую революцию.

Эта ситуация не только чрезвычайно интересна, но и крайне сложна. И если нам самим не удастся распутать её до конца и получить удовлетворительное объяснение, нас может несколько утешить мысль, что Сталин и его соратники, вероятно, запутались в ней не меньше нашего.

Одно совершенно ясно.

Говорить о внешней политике Сталина как о простом возвращении к старому царскому империализму — грубое упрощение.

Но ещё дальше от истины — объяснять её исключительно марксистско-ленинской борьбой за мировую революцию и цитировать все заявления из «Вопросов ленинизма» и «Краткого курса истории Коммунистической партии» так, словно эти произведения являются московским вариантом «Майн кампф».

Именно такой взгляд сегодня вошёл в моду. Его распространяют серьёзные политики, которые не читали ни той, ни другой книги и рассуждают о Сталине как о человеке, стремящемся покорить весь мир, словно мировое завоевание — не нечто неслыханное и нелепое, а самое естественное дело.

В дальнейшем, когда речь пойдёт о будущем, нам ещё придётся подробнее рассмотреть идею мирового завоевания и ложное сравнение Сталина с Гитлером, которое завело нас в столь тяжёлое положение.

Но пока мы остаёмся в настоящем и хотим подчеркнуть одно: невозможно сильнее ошибиться, чем предполагать, будто Сталин твёрдо верит во всё, что когда-либо говорил и писал о пролетарской революции.

Если эта книга не сделает ничего другого, кроме как прояснит хотя бы это, она уже достигнет своей цели.

Однако одно дело — утверждать, что Сталин верит не во всё, что говорил, и указывать на противоречия в его позиции.

Совсем другое — определить, во что же он в конечном счёте верит на самом деле.

Чтобы приблизиться к решению этой задачи, нам необходимо рассмотреть предмет с иной стороны.

Следует выяснить, что именно Сталин делает сейчас в своём противостоянии с Западом.

Необходимо понять природу коммунизма за пределами России, поскольку для Сталина она значительно важнее природы коммунизма внутри страны.

Наконец, нам нужно представить себе советскую действительность, с которой Сталин и его соратники сталкиваются каждый день своей жизни.

Но подойти к этим вопросам с ясной головой можно лишь в том случае, если мы откажемся от представления о грандиозном большевистском замысле, который терпеливо и сознательно осуществлялся на протяжении тридцати лет.

Ни один человек и ни одно правительство в мировой истории не обладали даже десятой долей той прозорливости, которую приписывают Сталину и его соратникам люди, без единого серьёзного доказательства утверждающие, что он стремится к мировому господству.

Если человек столь практического склада, как Сталин, когда-нибудь позволяет себе отвлечься от бесконечно тяжёлой задачи спасения собственной жизни и сохранения собственной страны как самостоятельной политической силы и предаться мечтам, он, возможно, временами представляет себе планету, управляемую из Москвы.

Но он также прекрасно понимает, что не ему суждено осуществить подобную мечту.

Проснувшись, он вынужден возвращаться к повседневной работе — поддерживать само существование сталинской России на карте мира.

В самом деле, если бы Сталин и его малоприятные соратники обладали хотя бы десятой долей тех способностей, которые им обычно приписывают, нам вообще не следовало бы с ними бороться.

Таких выдающихся людей стоило бы умолять взять управление миром в свои руки.

Но они вовсе не являются подобными образцами совершенства.

Это чрезвычайно способные и совершенно беспринципные политики-оппортунисты, которые без всяких нравственных сомнений маневрируют ради получения преимуществ и импровизируют изо дня в день, из года в год, оставаясь при этом в рамках общего исторического представления, имеющего примерно такое же отношение к повседневной жизни, как вера в Страшный суд.

Они ведут беспощадную и непрерывную борьбу с русским народом, чьи наиболее глубоко укоренившиеся свойства, даже у тех людей, которые считают себя образцовыми коммунистами, безнадежно противоречат самому замыслу современного, строго организованного и индустриального государства.

Одновременно, как это видит Сталин, они ведут столь же беспощадную и непрерывную борьбу с «капиталистическим окружением», которое волей-неволей оказывается вовлечённым в борьбу не на жизнь, а на смерть с оплотом и штабом мировой революции — до тех пор, пока идея мировой революции продолжает провозглашаться.

Каждый день и самыми различными способами Сталин и его соратники сталкиваются с необходимостью примирить требования своих долгосрочных целей с повседневной задачей сохранения Советского Союза.

И удаётся им это далеко не всегда.

Например, сейчас они оказались связанными противоречивыми направлениями политики.

Они стремятся торговать с Западом и одновременно подрывают западное производство.

Они снабжают нефтью и военными материалами ту самую военную машину, которая в следующем году может обрушиться на их укрепления.

С одной точки зрения может показаться, что после войны краткосрочные потребности и долгосрочная политика довольно успешно и даже беззаботно сочетались друг с другом.

Но и это в значительной степени иллюзия.

И в любой момент может наступить время, когда, как уже не раз бывало прежде, верных слуг Москвы по всему миру придётся бросить на растерзание, лишь бы удержать Советский Союз на ногах.

Часть 3 Холодная война

Глава 1 Внутреннее положение в стране

Подобно тому как историю России последних тридцати лет без большого преувеличения можно назвать историей борьбы между доктринёрским ленинизмом и русской действительностью, советская внешняя политика в значительной степени отражала внутреннее положение страны.

Поэтому, прежде чем перейти к так называемой холодной войне, следует хотя бы бегло взглянуть на состояние России, каким оно представлялось наблюдателю, относившемуся к стране с сочувствием, накануне этой войны, начавшейся, насколько я её понимаю, летом 1947 года.

Разумеется, если принимать сталинский марксизм буквально, началом холодной войны придётся считать тот осенний день 1917 года, когда Ленин захватил власть в Петрограде. Именно к этому призывает нас одна весьма громогласная школа мысли.

Но по причинам, которые теперь должны быть вполне понятны, я не считаю, что сталинский марксизм следует воспринимать буквально.

Более того, даже если допустить — чего я не допускаю, — что с момента революции существовало непрерывное и последовательное движение в заранее определённом направлении, под холодной войной мы всё же подразумеваем конкретную кампанию, конечной целью которой было разрушение Запада изнутри.

Поэтому я датирую её начало летом 1947 года.

Сегодня нелегко восстановить подлинную русскую действительность, скрытую за пропагандистскими залпами обеих сторон.

Именно поэтому я привожу здесь в первоначальном виде главу, написанную в критический момент — за месяц или два до того, как Сталин решил начать широкое наступление против Запада. В ней собраны впечатления от поездки в Россию весной того года.

Я впервые увидел Россию после 1943 года, когда посетил её вскоре после Сталинградской битвы.

Именно во время этой новой поездки, после неудачи Московской конференции министров иностранных дел, отношения России с Западом зашли в тупик, который вскоре был нарушен появлением плана Маршалла.

Вот как всё представлялось мне тогда.

Три наиболее поразительные черты современной Советской России настолько очевидны, что сталкиваешься с ними повсюду. Это нужда, дисциплина и страх.

Я рассмотрю их именно в таком порядке.

Но существует и ещё один важнейший факт, совершенно иного рода. Сам по себе он весьма примечателен: Советский Союз продолжает существовать.

Это действительно постоянно повторяющееся чудо.

Пока мы живём в мире суверенных государств и политики силы, пока, иными словами, первой обязанностью государственного деятеля остаётся сохранение единства, целостности и независимости собственной страны, мы должны признать: любой режим, сумевший удержать вместе безнадёжно текучий и анархичный народ русской равнины — не говоря уже об огромной Российской империи, — выполнил свой главный долг вопреки тяжелейшим обстоятельствам и тем самым оправдал своё существование.

Я сомневаюсь, что какой-либо режим, кроме существующего сталинского, смог бы сохранить единство России в борьбе против Германии и выйти из войны, не только сохранив Российскую империю, но и расширив её.

Это вовсе не означает, что в мирное время русский народ не мог бы жить гораздо счастливее при другом режиме.

Предоставленные самим себе, русские почти наверняка распались бы на бесчисленные небольшие и довольно примитивные общины.

Иными словами, они перестали бы быть гражданами Советского Союза.

А к настоящему времени их, вероятно, поглотили бы Германия и Япония.

Ценой существования русских в качестве граждан независимой державы является маршал Сталин.

Цена эта чрезвычайно высока, но она даёт и определённые преимущества.

И в нынешней фазе развития мирового общества первейшая обязанность государственного деятеля решительно не состоит в том, чтобы спрашивать, были бы его подданные счастливее и богаче под властью чужого государства.

Суверенная нация по-прежнему остаётся основой мирового порядка.

Пока это не изменится, государственный деятель, ставящий что-либо выше выживания управляемой им страны, попросту предаёт оказанное ему доверие.

Если подобное положение нам не нравится, следует начать устраивать мир иначе.

Сталин удержал русский народ вместе и заставил его вооружиться ценой невообразимых страданий.

Никто другой, как мне представляется, не оказался бы достаточно жёстким, беспощадным и целеустремлённым, чтобы заплатить самому или заставить других заплатить необходимую цену.

Оценить масштаб сделанного им — к добру или ко злу — можно лишь в том случае, если мы знаем нечто о природе русского народа и рассмотрим три главные особенности современной русской жизни: нужду, дисциплину и страх.

Начну с нужды.

Бессмысленно думать о современной России иначе, чем как о стране, испытывающей отчаянную, для нас почти непостижимую нехватку самого необходимого.

Я говорю не об уровне жизни.

В прошлом слишком много внимания уделялось мрачности и бедности русского существования. По нашим меркам жизнь там со времени революции действительно всегда была суровой и скудной, но, за исключением периодов острого кризиса, она не казалась такой по русским меркам — меркам основной массы населения.

Я имею в виду нищету, непосредственно вызванную недавней войной: отчасти самой войной, отчасти подготовкой к ней, проводившейся правительством.

Масштабы этой нищеты подавляют.

Мне говорят, что люди устали слышать о страданиях России в годы войны, о миллионах погибших мужчин и женщин и о повсеместных разрушениях.

Но в действительности они едва начали о них узнавать.

Они отвлечённо знают, что погибло от десяти до двадцати миллионов человек.

Столь же отвлечённо они знают, что при отступлении немцы уничтожали всё на своём пути.

Но большинство, по-видимому, даже отвлечённо не представляет, что во время блокады Ленинграда от голода умерло шестьсот тысяч человек и что зимой трупы, которые невозможно было похоронить, оставляли в домах, а смерть не регистрировали, чтобы уцелевшие родственники могли продолжать получать продовольственные карточки умерших — когда по ним вообще что-нибудь выдавали.

Люди, кажется, не знают, что зимой 1941 и 1942 годов москвичи неделями жили без отопления, освещения и газа для приготовления пищи, питаясь почти одним чёрным хлебом.

И это были не первобытные крестьяне, а высокообразованные люди, занимавшиеся умственным трудом.

Они, по-видимому, не знают и того, что немецкая разрушительная деятельность не ограничивалась взрывами заводов, электростанций, паровозов и тракторов.

Она доходила до последней мелочи.

Например, на всём пути от Можайска до Смоленска вдоль бесконечной железной дороги, рельсы которой также были разобраны, каждый телеграфный столб был срублен на высоте шести дюймов от земли.

Тачки уничтожали или увозили с той же целеустремлённой яростью, что и пятитонные грузовики и тракторы.

Люди, вероятно, не понимают, что нынешняя нехватка тракторов, лошадей и коров, которыми можно было бы тянуть плуги, самих уже почти не существующих, достигла такой степени, что весной 1947 года обычным зрелищем были двадцать или тридцать крестьянок, вскапывавших лопатами поле площадью в сотню акров и по ходу работы сажавших картофель.

Даже когда мы теоретически знаем обо всём этом, мы не осознаём его по-настоящему.

Если бы мы действительно поняли эти простые человеческие обстоятельства, то не тратили бы столько времени, недоумевая, что русские подразумевают под своими, например, невозможными требованиями репараций.

Мы понимали бы, что прежде всего они подразумевают именно репарации — в самом прямом смысле этого слова.

Мы не удивлялись бы и тому, почему русские оккупируют столь значительную часть Европы.

Мы знали бы, что они находятся там прежде всего для того, чтобы завладеть всем, что можно перевезти в Россию.

Всё это происходит под давлением чудовищной нужды.

Недостаточно воскликнуть, что такая политика недальновидна, и тем самым словно стереть её с карты.

Разумеется, она недальновидна.

Я не сомневаюсь, что кремлёвские руководители понимают это не хуже других.

Недальновидно продавать ценные вещи себе в убыток, чтобы удовлетворить немедленную потребность.

Недальновидно занимать деньги под грабительские проценты.

Но понимание недальновидности не устраняет саму потребность.

Иногда человеку приходится занимать под непомерные проценты или немедленно умереть.

Большинство занимает, надеясь, что до наступления срока выплаты процентов произойдёт что-нибудь благоприятное.

Россия захватила всё, что могла, и попыталась захватить ещё больше, поскольку её первейшая и неотложная задача состояла в том, чтобы прямо сейчас, изо дня в день, удерживать русский народ на ногах.

Само российское правительство в значительной степени виновато в том, что западные страны не осознали глубины русской нужды.

Во время войны оно беспощадно скрывало реальные условия жизни — например, голод в Ленинграде, — опасаясь тем самым ободрить немцев.

После войны, за исключением тех случаев, когда непосредственно обсуждались репарации, как на Московской конференции, правительство ещё беспощаднее скрывало истинное положение, чтобы

не обнаружить временную слабость России перед остальным миром, особенно перед Великобританией и Соединёнными Штатами.

Такую политику тоже можно назвать недалёковидной.

Но видимость немедленной силы, созданная ценой безмерных человеческих страданий, всё же позволила Кремлю добиться желаемого в Восточной Европе, которой он придавал огромное значение.

Нужда носит всеобщий характер и охватывает почти всё.

С точки зрения народа первоочередные потребности, вероятно, располагались бы в следующем порядке: продовольствие — прежде всего продовольствие, — одежда, жильё, отдых, потребительские товары, кроме одежды, общественные удобства и транспорт.

Но с точки зрения правительства порядок был иным — по крайней мере до недавнего времени: тяжёлая промышленность, которая сама по себе, разумеется, вовсе не является народной потребностью, хотя её развитие необходимо для удовлетворения некоторых потребностей населения, а также для производства, например, танков;

затем продовольствие, то есть сельское хозяйство;

далее общественные удобства, жильё, транспорт, потребительские товары, включая одежду;

и лишь в самом конце, после большого промежутка, отдых.

Противоречие между этими двумя перечнями приоритетов отражает противоречие между народом и правительством России.

Пока расхождение между государственным и народным списками остаётся столь же острым, как сегодня, идеальное единство власти и народа достигнуто не будет.

Это не означает перспективы народного восстания или чего-либо подобного.

Это означает лишь частое недовольство, некоторую деморализацию и широко распространённое инстинктивное стремление работать как можно меньше — советский эквивалент прогулов.

Причина кажущегося нам странным внимания к общественным учреждениям совершенно проста и в действительности вовсе не странна.

В Британии существует жилищный кризис, но это не означает, что мы превращаем театры и кинотеатры в жилые дома.

Это не мешает нам даже строить новые кинотеатры.

В России жилищный кризис ужасен.

В городах он был невыносим ещё до войны, а теперь достиг таких масштабов, что в Москве около пяти миллионов жителей, из которых примерно миллион не зарегистрирован, размещаются в домах, рассчитанных на два миллиона человек.

В сельской местности — во всех районах к западу от Москвы и Сталинграда — положение ещё хуже.

Десятки тысяч семей живут в ямах среди развалин или в больших землянках с земляными крышами. Северные леса России могли бы дать всё необходимое количество древесины.

Но нет ни машин, способных валить и обрабатывать деревья, ни транспорта, чтобы доставлять лес туда, где он требуется.

При такой нехватке единственным немедленно осуществимым решением становится использование доступных материалов для строительства великолепных общественных центров, которые отвлекают людей от собственных бед и одновременно пробуждают в них чувство гордости.

Именно так и поступают.

В таком городе, как Сталинград, первым делом восстанавливают заводы, тогда как люди устраиваются среди развалин как могут.

Второй задачей становится внесение хоть какого-то цвета в жизнь этих современных пещерных жителей.

Новый общественный центр способен сделать это с меньшими усилиями и затратами, чем восстановление одной улицы многоквартирных домов.

Поэтому жилые дома приходится строить позднее.

Засуху лета 1946 года долго скрывали.

Наконец Жданов намекнул на неё как на причину сохранения карточной системы на хлеб в речи по случаю годовщины Октябрьской революции 1946 года.

В январе 1947 года официально объявили, что это была самая тяжёлая засуха с 1891 года — года величайшего голода.

Даже засуха 1921 года не была столь сильной и всеобъемлющей.

Но голод 1891 и 1921 годов не повторился, поскольку, несмотря на военные разрушения, советская экономика оказалась достаточно мощной, гибкой и развитой, чтобы выдержать это напряжение — хотя едва-едва.

К востоку от Урала, особенно на Алтае и в Казахстане, где в царское время развитого сельского хозяйства почти не существовало, собрали хороший урожай.

И каким-то образом транспортная система, значительно расширенная при Кагановиче, но сильно пострадавшая во время войны, сумела работать достаточно исправно.

И всё же на Украине и во всём Чернозёмном поясе вплоть до Саратова на Волге положение было страшным.

В Румынии та же засуха привела к настоящему голоду.

Насколько можно судить, ни в одном из российских регионов настоящего голода не было.

Однако в отдельных областях люди из-за недоедания болеют и не способны работать.

Соответственно снизилось промышленное и сельскохозяйственное производство.

Норма хлеба в Белоруссии и на Украине составляет примерно 250 граммов в день против 550 граммов для трудоспособного рабочего в других районах России.

Это самый минимальный паёк, позволяющий лишь не умереть, особенно если хлеб является единственной твёрдой пищей.

Работать при таком питании невозможно.

Если бы не помощь ЮНРРА, деятельность которой теперь прекращается, а также упомянутые выше советские улучшения в области транспорта и сельского хозяйства, результатом стал бы настоящий голод.

Как бы то ни было, необходимо отметить: впервые в истории российское правительство сумело предотвратить гибель миллионов людей во время катастрофической засухи.

Именно это Коммунистическая партия Советского Союза всегда обещала сделать.

И, по-видимому, ей действительно удалось это сделать.

Последствия стихийного бедствия, обрушившегося на страну в первый мирный год, чрезвычайно сильно сказались на остальной России, особенно на Москве.

Сохранение карточек на хлеб стало горьким разочарованием.

Повышение цен на продукты, продававшиеся без карточек в новых так называемых коммерческих магазинах, заставило миллионы людей вновь довольствоваться едва достаточными пайками, а ещё

миллионы — искать дополнительную работу ради рублей, на которые можно было купить продукты.

Городской класс служащих буквально губит себя непосильным трудом.

Купив дополнительную пищу, люди уже не имеют денег даже на ту немногочисленную одежду, которая имеется в продаже.

Человек, работающий одновременно на трёх работах, — обычное явление.

Главная беда состоит в том, что законные иждивенцы попросту не получают достаточного количества пищи для поддержания жизни.

Под законными иждивенцами я подразумеваю частично нетрудоспособных людей, престарелых родителей и тому подобных.

Их паёк не рассчитан на то, чтобы заставлять их работать, но его едва хватает, чтобы в состоянии покоя не умереть от голода.

Под незаконными иждивенцами я имею в виду бездетных жён или женщин, чьи дети старше десяти лет.

Их государство иждивенцами не признаёт.

Их заставляют идти на работу или полностью жить за счёт мужей при помощи простого средства — лишения всякого продовольственного пайка.

«Кто не работает, тот не ест», — гласит квазибиблейская формула сталинской конституции.

Такие женщины получают карточку, по которой им полагаются одна коробка спичек и одна пачка соли в неделю.

И больше ничего.

Поэтому, если родители или мужа не способны кормить их по коммерческим ценам — картофелем по двадцать рублей за килограмм, хлебом по десять рублей за ломоть и мясом по четыреста пятьдесят рублей за килограмм, — они тоже вынуждены идти работать.

Одним словом, большинство городских жителей России сейчас считает, что живёт хуже, чем когда-либо прежде.

Иногда подобное чувство возникает и у нас в Британии, и, как и наше, оно обманчиво.

Русские живут значительно лучше, чем в 1942 и 1943 годах, но гораздо хуже, чем в 1944 и 1945 годах, когда жизнь начала заметно улучшаться.

Недавнее ухудшение объясняется прежде всего засухой, но отчасти также истощением запасов потребительских товаров, доставленных из оккупированных Россией стран.

Эти запасы не могли сохраняться вечно.

С другой стороны, если урожай этого года окажется хорошим, как сейчас ожидается, и если российское правительство не обречёт собственный народ на голод, экспортируя чрезмерное количество зерна в Британию, Францию или Восточную Европу ради тщательно рассчитанных внешнеполитических целей, то к этому времени в следующем году люди почувствуют себя значительно лучше и жизнь снова станет радостнее.

Из сказанного должно быть понятно, что нынешний острый недостаток всего необходимого русскому народу, начиная с продовольствия, объясняется не только засухой и немецкими разрушениями.

Третьей причиной является само советское правительство.

Я уже назвал тяжёлую промышленность первым приоритетом.

Тяжёлую промышленность, прежде всего производство стали, действительно необходимо развивать, чтобы выпускать оборудование для лёгкой промышленности.

Однако не в тех масштабах, в которых это делается сегодня.

Тяжёлая промышленность требуется также для производства вооружений.

На эту бесплодную цель расходуются огромные денежные средства и колоссальные усилия, соответственно усиливая нынешние страдания русского народа.

Кроме того, громадные людские и материальные ресурсы направляются на создание новых промышленных центров в глубинах Сибири.

Тем самым материалы и рабочая сила отвлекаются от восстановления старых промышленных районов Украины.

Мотив здесь также военный.

Обсуждение военных приготовлений России и их возможных последствий для будущего мира выходит за пределы моей темы.

Я упоминаю их лишь в связи с нуждой русского народа, которая, как мы увидели, отчасти является результатом немецких разрушений, отчасти — стихийного бедствия, а отчасти — одержимости Кремля, чем бы она ни объяснялась, могуществом Советского Союза и его военным потенциалом. Следует помнить, что нынешняя острая нужда наложилась на вековую бедность, которая после революции превратилась в полную нищету.

После двадцати пяти лет самоотверженного труда народ начал добиваться небольшого, но подлинного облегчения именно тогда, когда напал Гитлер и отбросил всё назад.

Однако — и это поразительно — он не вверг страну в хаос.

Некоторые корреспонденты, находившиеся вместе со мной в Москве во время конференции в апреле 1947 года, принимали следы многовековой нужды за признаки разложения нынешнего режима.

Важно не повторять эту ошибку.

Она не только несправедлива по отношению к новой России, но и заставляет считать Советский Союз слабее, чем он есть на самом деле.

Последние два года я потратил немало времени, пытаясь убедить людей, что Россия вовсе не является железным чудовищем, каким её изображает массовое воображение.

Но теперь маятник слишком далеко качнулся в противоположную сторону.

Россия намного слабее, чем кажется издали.

Но одновременно она значительно сильнее, чем выглядит вблизи.

Большинство из нас сочло бы концом света необходимость после работы возвращаться домой в землянку.

Русский ненавидит такую жизнь, но для него это ещё очень далеко не конец света.

Я столь подробно остановился на нужде потому, что именно она создаёт фон, на котором особенно отчётливо проявляются две другие особенности: дисциплина и страх.

Под дисциплиной я прежде всего подразумеваю партийную дисциплину.

Уже почти год в России идёт довольно непрерывная чистка, особенно, разумеется, на Украине, где во время войны распалась коллективная система сельского хозяйства.

Но чистка эта была чрезвычайно мягкой.

Вместо физического уничтожения, как это бывало раньше, провинившимся обычно объявляют выговор, направляют на несколько месяцев выполнять неприятное поручение, а затем возвращают к прежней работе.

Я встречал двух или трёх людей, которые совсем недавно находились в опале, но теперь снова занимались своим делом, словно ничего не произошло.

Главный удар чистки пришёлся на саму партию.

По-видимому, её задачами были отчасти восстановление партийной дисциплины, несколько ослабевшей в годы войны; отчасти сокращение численности партии, намеренно и с определённой целью разросшейся во время войны примерно до семи миллионов человек; отчасти устранение некоторых оппозиционных элементов и подготовка к давно откладывавшемуся очередному партийному съезду, на котором можно было ожидать немалой критики.

Всё это относится к наведению порядка внутри самой партии.

За её пределами главной задачей чистки было укрепление положения партии в стране и прекращение некоторых тенденций, сознательно поощрявшихся во время войны.

К ним относились, например, прославление армии и возвеличивание русской традиции в противоположность советской.

Всё это было вполне ожидаемо.

Новым и интересным является крайняя мягкость чистки и тот факт, что угрожающие заявления Кремля оказались гораздо страшнее реальных наказаний.

С провинившимися говорят скорее с печалью, чем с гневом.

Иными словами, предпринимается сознательная и широкая попытка представить Сталина суровым, но понимающим отцом, а не ревнивым божеством.

Это отражается и в русском театре, который сейчас в целом находится в весьма плачевном состоянии.

Настало время маленького человека, трудного нравственного выбора и мужественного стремления к добру.

Одна из самых популярных московских пьес — её название я забыл — рассказывает о молодой женщине, которой приходится выбирать между блестящим молодым героем Красной армии и довольно невзрачным молодым инженером, трудившимся во время войны без славы и признания.

Вначале военный герой безусловно побеждает.

Но в конце, под бурные аплодисменты, верх одерживает молодой техник.

Героиня поступает правильно.

Разумеется, мы с самого начала знали, что она так поступит: на советских девушек всегда можно положиться — они непременно сделают правильный выбор.

Такова нынешняя атмосфера.

А блестящий молодой военный герой, ещё совсем недавно бывший самым чествуемым человеком в мире, теперь не вполне понимает, какое место ему отведено.

Новый патернализм проявляется также в недавней отмене смертной казни, в подчёркивании роли прокуратуры как сторожевого пса — разумеется, охраняющего интересы народа, — и в обещании ввести некое подобие гарантии против произвольного ареста.

Ближайшая цель такого развития — и здесь я перехожу к следующей теме, страху — представляется мне двойственной.

Очевидная задача состоит в том, чтобы успокоить людей, вернуть им чувство безопасности, то есть устранить страх.

Более долгосрочная и спорная цель, как мне кажется, заключается в подготовке страны к уже начавшемуся разединению с внешним миром: к отступлению по всей линии, к обращению внутрь себя и отвращению от испорченного и заражённого западного мира в традиционном русском духе.

Я не могу сейчас подробно развивать эту мысль.

Она относится скорее к советской внешней политике, чем к впечатлениям, полученным во время короткой новой поездки в Москву.

К тому же изучать этот вопрос легче снаружи, чем внутри России.

Но его всё же следует зафиксировать, хотя бы как указание на новый патернализм и провинциальную замкнутость, заметные сегодня в России, хотя по существу они вовсе не новы.

Я полагаю, что основная линия российской внешней политики заключается именно в скрытом отступлении — в отходе без потери лица.

Сталин уже извлёк из Европы всё, что мог, и теперь выбирается оттуда под прикрытием шумного арьергардного боя.

Мы будем всё реже слышать о России в Европе и всё чаще — о коммунизме.

А эти два понятия вовсе не обязательно являются синонимами.

Сегодня в России существует три вида страха.

Во-первых, это кремлёвский страх перед внешним нападением, отчасти основанный на доктрине, отчасти носящий характер партийной патологии.

С ним, разумеется, связан кремлёвский страх внутреннего распада — не из-за народного восстания, а вследствие невыполнения планов, вызванного добровольной или невольной слабостью усилий со стороны населения.

Затем существует страх в сердцах самих людей, также двойственный: внутренний и внешний.

В страхе перед МВД, перед ревнивым божеством, нет ничего нового.

Теперь Сталин пытается заменить его здоровым уважением к суровому отцу.

Сделать это за один день невозможно, и пока прежний страх сохраняется.

Но второй вид страха совершенно нов.

Это боязнь войны, которая может начаться в любой момент.

Русский народ не любит войну и никогда её не любил.

Войны ему досталось слишком много.

Русские женщины, услышав о великой победе, не радуются, а плачут, потому что победа означает потери.

Сейчас — или, по крайней мере, месяц-два назад — люди жили в смертельном страхе, что война может начаться уже завтра.

«Как проходит конференция? Будет война или мир?»

Этот жалобный и настойчивый вопрос слышался повсюду, куда бы вы ни пришли.

Звучит невероятно, но это правда.

И этим страхом народ обязан собственному правительству.

Правительство тоже боится войны, но не войны, которая может начаться немедленно.

Оно боится войны, которая произойдёт в течение следующих двадцати лет — до того, как страна будет к ней готова.

Но страх, который год назад правительство сознательно внушало людям и теперь всеми силами пытается устранить, имел совершенно иной характер.

Это была искусственная, тщательно рассчитанная пропагандистская кампания, закончившаяся неудачей.

Чтобы заставить рабочих и крестьян сохранять напряжение сил и оправдать дальнейшие лишения, власти создали искусственную военную тревогу.

И сделали это настолько успешно, что вместо нового трудового подъёма получили парализующий страх.

Это оказалось уже слишком тяжёлым испытанием.

После долгих лет труда без вознаграждения, после победы в величайшей войне истории немедленно оказаться перед угрозой новой войны — всё это, казалось, уже не имело смысла.

Поэтому правительству пришлось дать задний ход.

Сталин делает успокоительные заявления приезжающим журналистам.

Смертную казнь отменяют, поскольку впереди якобы ожидается эпоха прочного мира, и так далее.

Потребуется время, прежде чем новая линия начнёт действовать.

А пока люди голодны, измучены, лишены красок жизни, растеряны и смертельно напуганы.

Кремль тем временем продолжает выполнять чудовищную задачу, которую сам на себя возложил: добиться производственного равенства с Соединёнными Штатами.

Когда будет собран урожай этого года, сталь вновь станет первоочередной задачей.

Одновременно Кремль превращает Россию в крепость, закрепляет все внешние приобретения, которые способен удержать, создаёт послушные правительства перед эвакуацией из стран, оставаться в которых не может, и использует зарубежные коммунистические партии и национальную вражду, чтобы максимально ослабить остальной мир, разжигая раскол и братоубийственную борьбу.

Глава 2 Объявление войны

Мне кажется, что эти впечатления, записанные около четырёх лет назад, весной 1947 года, сохраняют такую непосредственность, которую сегодня было бы трудно, если вообще возможно, воссоздать. И они, несомненно, занимают своё место в разворачивающейся перед нами истории.

Приведённые факты были верны — в той мере, в какой они были известны. Но известны они были далеко не полностью.

Как мы уже видели, потери России в войне оказались значительно тяжелее, чем первоначально предполагалось. Погибли или были искалечены не только лучшие представители молодого поколения. Около двадцати миллионов мирных жителей умерли от голода, болезней и действий противника — как в самой России, так и в лагерях рабского труда гитлеровской Европы.

Ещё миллионы людей были ослаблены недоеданием и чрезмерным напряжением; многим из них предстояло умереть раньше времени. Двадцать пять миллионов человек остались без крова.

Кроме того, как теперь установлено вне всякого сомнения, нравственное здоровье Советского Союза было серьёзно подорвано использованием принудительного труда в чудовищных масштабах. В довершение всего демобилизованные солдаты и возвращавшиеся на родину гражданские лица, собственными глазами увидевшие Запад, начинали распространять недовольство существующим порядком. Их впечатления от западной жизни были далеко не столь безоговорочно восторженными, как хотелось бы думать наиболее самодовольным из нас, но влияние этих людей всё же было значительным.

Впрочем, у нас ещё будет возможность подробнее рассмотреть эти вопросы, когда мы обратимся к нынешнему внутреннему положению Советского Союза.

Что же касается выводов, сделанных мною из тогдашних впечатлений, некоторые из них оказались ошибочными. Например, я ещё не понимал всей глубины возвращения к русскому национализму.

Кроме того, часть картины оставалась скрытой.

Уже тогда было совершенно ясно, что глубинное русское стремление отвернуться от Запада и всех его соблазнов проявляется с необычайной силой. Но всего через несколько месяцев обнаружилось, что я недооценил противоположное влечение — силу стремления к экспансии, противостоящего стремлению к отступлению и самоизоляции.

Я недооценил и борьбу между этими двумя началами — современное проявление вечного противостояния московской и петровской традиций.

Подобные размышления могут по-прежнему казаться бессмысленными тем, кто разделяет широко распространённое сегодня убеждение, будто ещё во время войны Сталин деятельно готовил возрождение Коминтерна и полномасштабное коммунистическое наступление на внешний мир.

Поскольку подобное наступление явно предполагало открытое возвращение к ленинским и троцкистским идеям, которые, мягко говоря, были отложены после провозглашения «социализма в одной стране», из этого делается вывод, что Сталин ни на минуту не отказывался от замысла мировой революции под руководством Москвы.

Следовательно, все его действия, включая самые вопиющие отступления от марксистской линии, якобы неизменно — пусть порой и окольными путями — были направлены к этой высшей цели.

Представление о Сталине как о боге среди людей — ведь прежде подобной способностью заглядывать в будущее наделяли разве что Юпитера — возникло легко и, возможно, неизбежно. Оно стало результатом неполного прочтения большевистских священных текстов и несколько доктринёрского истолкования советской политики после войны.

Окончательную форму этой теории придали некоторые видные специалисты по России из Государственного департамента Соединённых Штатов. Они знали очень много о ленинизме, но значительно меньше — о человеческой природе.

Политики и дипломаты, не знавшие толком ни того ни другого, с восторгом ухватились за эту теорию, поскольку получили схему, в которую можно было втиснуть происходящие события — пусть и прокрустовыми методами.

К настоящему времени эта идея стала настолько популярной, что проникла в сознание американского президента и британского премьер-министра.

Причиной всей этой путаницы стало внешнее возрождение ленинизма, которое мы уже рассматривали.

В действительности все имеющиеся свидетельства приводят нас к выводу, что Сталин вовсе не располагал заранее продуманным планом наступления. Начиная с Тегеранской конференции, он импровизировал, решая проблемы по мере их возникновения, причём делал это в манере, временами напоминавшей британское Министерство иностранных дел.

До конца лета 1947 года не существовало никаких признаков какого-либо общего плана.

Господин Дойчер убедительно рассмотрел этот вопрос в уже цитировавшейся мною биографии Сталина:

Следует спросить: намеревался ли Сталин, торгуясь за собственную сферу влияния, уже тогда установить в ней исключительную власть коммунистов?

Возник ли замысел революции у него ещё во время Тегеранской или Ялтинской конференции?

Окончательно ли этот замысел сформировался к Потсдаму?

И обвинители, и защитники Сталина сходятся в этом вопросе, поскольку и те и другие хотят видеть за его действиями чрезвычайно хитроумный и дальновидный план.

Однако поступки Сталина обнаруживают множество странных и поразительных противоречий, отнюдь не свидетельствующих о существовании революционного генерального плана.

Напротив, они позволяют предположить, что никакого такого плана не было.

Вот лишь некоторые из самых очевидных противоречий.

Если Сталин последовательно готовился установить в Варшаве коммунистическое правительство, почему он так упорно отказывался идти на какие-либо уступки полякам в вопросе об их восточной границе?

Разве для него имело бы значение, управлялся бы, скажем, Львов — этот польско-украинский город — из коммунистического Киева или из коммунистической Варшавы?

Между тем подобная уступка значительно укрепила бы позиции польских левых.

Точно так же, если Сталин заранее планировал революцию в Восточной Германии, почему он отторг от Германии и передал Польше все немецкие земли к востоку от Нейсе и Одера, о приобретении которых не мечтали даже сами поляки?

Почему он настоял на изгнании всего немецкого населения из этих областей — поступке, который неизбежно должен был ещё сильнее ожесточить немецкий народ не только против поляков, но также против России и коммунизма?

Его требования о выплате репараций Германией, Австрией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Финляндией были понятны, учитывая опустошение Украины и других советских земель.

Однако они не могли не нанести столь же серьёзного ущерба коммунистическому делу в этих странах.

Ещё в большей степени это относилось к требованию Сталина уничтожить бóльшую часть германской промышленности.

Уже в Тегеране, если не раньше, он дал понять, что выдвинет такое требование.

В Ялте он предложил в течение двух лет после прекращения огня демонтировать восемьдесят процентов германской промышленности.

И в Потсдаме от этого требования не отказался.

Он не мог не понимать, что осуществление этого замысла, столь же фантастического, сколь и беспощадного, повлекло бы за собой распыление германского рабочего класса — главной, если не единственной, общественной силы, к которой коммунизм мог обратиться и поддержку которой мог приобрести.

Ни одну из этих мер невозможно даже при самом богатом воображении назвать ступенью на пути к революции.

Напротив, каждым подобным шагом Сталин собственными руками воздвигал перед революцией труднопреодолимые преграды.

Уже одного этого, по-видимому, достаточно, чтобы сделать вывод: даже к концу войны намерения Сталина оставались, мягко говоря, в высшей степени противоречивыми.

Я пошёл бы ещё дальше господина Дойчера и сказал, что совершенно очевидно: в 1945 году Россию прежде всего заботило предотвращение возрождения реваншистской Германии.

Главным средством для достижения этой цели было объединение пограничных с Россией государств под её влиянием как великой державы.

Польское урегулирование должно было служить трём различным целям.

Во-первых, оно обеспечивало Советскому Союзу как державе территории, которые тот считал своими, — путём присоединения польской части Украины.

Во-вторых, оно ослабляло Германию передачей Польше промышленного района Силезии.

В-третьих, оно намертво привязывало Польшу к Советскому Союзу, делая поляков полностью зависимыми от советской защиты перед лицом возможных германских требований о возвращении утраченных земель.

Оглядываясь назад, я полагаю, что вплоть до весны 1947 года Сталин более или менее последовательно мыслил категориями военной силы.

Победоносные армии завели его далеко в глубь Европы и предоставили редчайшую возможность утвердить влияние России в тех областях, откуда её прежде неизменно вытесняли.

После нового Сан-Стефано уже не должно было последовать нового Берлинского конгресса, который лишил бы русских столь дорогой ценой приобретённых преимуществ.

И действительно, имея дело с господами Эттли и Трумэном, Бевином и Бирнсом, а не с Дизраэли и Солсбери — не говоря уже о Бисмарке, — Сталин, вероятно, не видел особых причин опасаться такого развития событий.

От Балтийского моря до Адриатики, охватывая бóльшую часть бассейна Дуная, должен был протянуться непрерывный пояс дружественных государств, изолированных от разлагающего влияния западной дипломатии и западного капитала.

Могущество Германии следовало подавить.

Идея «народной демократии» была подлинной идеей, и для самого Сталина вовсе не новой.

Ничто не указывает на то, что в 1945 году он считал своей ближайшей целью формальную советизацию Польши, Чехословакии, Венгрии и остальных стран.

Пока эти государства прислушивались к нему, а не к Америке и Великобритании, он был готов позволить им самостоятельно определять собственный путь к социализму.

В связи с этим следует помнить, что для Сталина и всех его представителей та или иная форма тоталитарного социализма или государственного капитализма являлась естественным следствием дружественности соседнего государства.

Иными словами, маловероятно, что в первые послевоенные годы Сталин осознавал свои действия, скажем, в Румынии как вмешательство в её внутренний порядок — не больше, чем британское правительство и владельцы британских концессий осознавали такое вмешательство в более счастливые для них времена.

Таково было начало.

Дружественные правительства следовало создать под защитой Красной армии, пока эта армия ещё находилась на месте.

Но советское представление о мягком давлении существенно отличается от англосаксонского.

Западные возражения против использования всего арсенала большевистских приёмов — выборов по единому списку, полицейского террора и прочего, столь же естественных и обыденных для Политбюро, как поцелуи младенцев для британского парламентария или фотографирование за нелепыми занятиями для американского сенатора, — вызвали протесты Запада и ожесточили его позицию.

Это убедило Сталина в его глубоком подозрении, что Великобритания и Соединённые Штаты — особенно Великобритания — вовсе не намерены отказываться от собственных коммерческих интересов в Восточной Европе.

Одновременно коммунистические партии Восточной Европы испытывали серьёзные трудности, пытаясь сделать своё положение совершенно неуязвимым.

Более того, некоторые коммунистические руководители начинали вырабатывать собственные, независимые взгляды.

Теперь мы знаем, например, что югославские коммунисты раздражали Сталина уже в 1945 году.

Чехословакия вообще не была коммунистической страной.

И хотя в Москве знали, что Бенеш решил строить будущее своего государства на тесном сотрудничестве с русскими, в Праге и Братиславе действовало слишком много антисоветских сил, чтобы одержимый стремлением к полной безопасности Сталин мог чувствовать себя спокойно.

Общее международное положение также ухудшалось для Советского Союза.

В значительной степени из-за его поведения в странах-сателлитах и в Германии Запад был вынужден занимать всё более непримиримую позицию.

Сначала на Лондонской конференции 1946 года, а затем окончательно на Московской конференции 1947 года западные державы твёрдо отказались рассматривать советское требование о десяти миллиардах долларов германских репараций.

Больше, чем какой-либо другой отдельный поступок, это было воспринято Сталиным как признак того, что Великобритания, Америка и Франция гораздо сильнее заинтересованы в развитии Рура и создании мощной Германии, чем в том, чтобы заставить Германию оплатить восстановление Советского Союза.

Из этого был сделан вывод, что Запад стремится помешать восстановлению СССР.

Политбюро и без того слишком легко могло прийти к такому заключению, а его подозрения слишком часто подкреплялись не только заявлениями безответственных лиц, но и некоторыми

действиями ответственных государственных деятелей — например, безумно резким прекращением поставок по ленд-лизу в 1945 году.

Начиная с 1944 года Сталин неоднократно приветствовал возможность получения американского займа или крупных американских кредитов.

Эта возможность то возникала перед ним, то вновь исчезала.

В книге господина Альберта З. Карра «Трумэн, Сталин и мир» имеются весьма показательные страницы на эту тему, содержащие документально подтверждённые, но малоизвестные сведения.

Подозрения Сталина в отношении намерений Запада сохранялись на протяжении всей войны и были чрезвычайно усилены долгой задержкой открытия так называемого второго фронта в Европе, особых трудностей которого он так никогда и не понял.

Он считал, что какие бы заверения ни давали западные руководители — особенно Рузвельт, — враждебное давление вскоре лишит эти обещания всякого значения.

Настойчивое стремление господина Черчилля открыть фронт на Балканах он воспринимал как прямую попытку воспрепятствовать распространению законного советского влияния.

Сохранявшийся интерес британцев к Болгарии и Румынии, уже после того как господин Черчилль согласился считать эти страны частью советской сферы влияния, он рассматривал как сознательное вероломство.

Нежелание самой богатой и могущественной страны мира помочь восстановлению разрушенной российской экономики казалось ему крайне зловещим предзнаменованием.

И так далее.

Защитники Кремля обычно утверждают, что именно эти и другие подобные обстоятельства помогли привести Советский Союз к его нынешнему агрессивному образу действий.

Вероятно, определённую роль они действительно сыграли.

Нет сомнений и в том, что англосаксонские державы заслуживают порицания за отдельные стороны своей политики.

Но остаётся фактом: основная ответственность за постепенное погружение мира в хаос лежит на советском правительстве.

В 1941 году Сталин получил редчайшую, едва ли не тысячелетнюю возможность примириться с Западом.

Он упустил эту возможность.

Нам говорят, что события, происходившие с 1944 года, вызвали в Сталине враждебность к Западу.

В действительности ничего подобного не произошло.

Эти события были ответом — обычно неразумным и неизменно путаным — на провокации, которые Сталин непрерывно устраивал с первых дней германского вторжения.

На протяжении трёх лет британское и американское правительства сознательно оставляли эти провокации без внимания.

Они изо всех сил старались забыть прошлое, изгладить горькие воспоминания и не совершить ничего, что могло бы задеть обострённую чувствительность великого русского союзника.

История этих лет была историей непрерывной череды не предававшихся огласке уступок, которые Сталин принимал без единого слова благодарности и даже без признания самого факта уступки.

Эта череда завершилась лишь в Ялте открытым предательством Польши.

Единственная справедливая претензия к политике союзников в отношении России в 1941–1944 годах состоит не в том, что мы слишком мало уступили Сталину, а в том, что мы уступили ему слишком много.

Однако эта книга меньше всего посвящена распределению вины между Востоком и Западом за нынешнее положение.

В пользу Сталина можно выстроить определённую систему доводов, и в других работах я это делал. Но вопрос о том, какая сторона и в какой мере виновата в отдельных эпизодах, следует оставить будущим историкам.

Наша непосредственная задача состоит в другом: признав существование конфликта, понять, что он представляет собой сегодня, насколько опасен и с каким противником нам предстоит столкнуться. Рассматривая предысторию холодной войны, я пытался показать, что представление о Сталине как о дальновидном и расчётливом шахматисте ошибочно.

Это далеко не отвлечённый вопрос, поскольку от ответа на него должен зависеть весь наш подход к стоящей перед нами проблеме.

Главная мысль, которую я стремлюсь доказать, состоит в том, что лишь после провала Московской конференции 1947 года Сталин пришёл к окончательному заключению: как вождь великой державы, навязывавший свою волю Европе и миру молчаливой угрозой скрытого могущества России и благодаря престижу Красной армии, он временно исчерпал свои возможности.

Перед ним открывались три пути.

Он мог отвести свои силы в огромную крепость Советского Союза и направить всю энергию на развитие собственной экономики — как поступали до него многие русские правители после впечатляющих вторжений в европейскую политику и как в 1928 году поступил он сам.

Он мог бросить все средства на попытку разрушить экономику капиталистического мира.

Наконец, он мог повести свою огромную армию через Европу к Рейну или дальше, бросив вызов Америке и Великобритании и рассчитывая, что они не сумеют нанести действенный ответный удар, пока он поглощает промышленность Германии и развивает революционное движение среди миллионов жителей далёкой Азии.

Сегодня широко распространено мнение, будто от последнего пути его удержало только наличие у Америки атомной бомбы.

Господин Черчилль неоднократно высказывал эту точку зрения.

В дальнейшем я постараюсь показать, что она ошибочна.

В 1947 году я сам полагал, как видно из предыдущей главы, что Россия замкнётся в себе за заслоном «дружественных», полукоммунистических государств.

Одновременно она будет вести по всему миру подрывную кампанию против устойчивости капиталистического строя через не слишком открыто организованную пятую колонну, предоставленную зарубежными коммунистическими партиями.

Я по-прежнему считаю, что таково было намерение Сталина ещё летом 1947 года.

Он приобрёл немало, и Россия заплатила за эти приобретения высокую цену.

Его успехи стали возможны лишь благодаря строжайшему сокрытию внутренней слабости и нужды России и поддержанию видимости силы, основанной только на огромных размерах страны и вполне реальном престиже Красной армии.

Это были его единственные козыри.

Необходимость пользоваться ими не позволяла ему открыть карты и показать всю глубину и масштабы бедственного положения страны.

Нужда, как мы уже видели, была настолько велика, что для её облегчения теперь требовались усилия каждого трудоспособного жителя России.

И тут совершенно неожиданно летом 1947 года прозвучала гарвардская речь господина Маршалла, а британский министр иностранных дел немедленно принял его предложение — или вызов.

Господин Бевин созвал в Париже конференцию, чтобы обсудить способы воспользоваться великой возможностью, предоставленной американским предложением помочь европейским государствам помочь самим себе.

Включала ли Европа Россию?

«Да, — ответил господин Маршалл, — я имею в виду всё, что находится к западу от Азии».

Поэтому приехал и господин Молотов, прилетевший из Москвы в сопровождении более чем восьмидесяти экспертов и советников.

Это была последняя возможность Кремля получить помощь Запада.

День или два господин Молотов в своей хорошо известной манере тянул время.

Чтобы создать видимость деятельности, он предложил собственное представление о том, какую программу следует разработать.

Но всё его предложение сводилось к тому, чтобы каждая страна отдельно направила в Вашингтон собственный «список покупок».

Это совершенно не соответствовало намерениям ни господина Маршалла, ни кого-либо другого.

Затем внезапно, без всякого предупреждения, господин Молотов заявил, что больше участвовать в игре не намерен.

Он получил новые указания.

Ещё до окончания дня его вместе со всей внушительной свитой поспешно посадили в ожидавший самолёт и отправили обратно в Москву.

За эти несколько часов Сталин принял решение, которое во всех отношениях стало самым важным решением его жизни.

Возможно, будущий историк увидит в нём поступок, предопределивший окончательное падение советского режима.

Когда господин Молотов покидал Парижскую конференцию, его волнение было чрезвычайно сильным.

Объяснить его можно было лишь глубоким душевным потрясением.

Он настолько потерял самообладание, что не смог сдержаться:

Если вы продолжите осуществлять этот план, поверьте мне, настанет день, когда вы об этом пожалеете!

Это и было официальным объявлением холодной войны.

Всего шестью годами ранее бледный, осунувшийся господин Молотов воскликнул, обращаясь к германскому послу в Москве, пока немецкие самолёты бомбили пограничные деревни Белоруссии и Украины:

Неужели вы думаете, что мы действительно этого заслужили?

«Неужели вы думаете, что мы действительно этого заслужили?» — мог бы вслед за ним спросить господин Маршалл, когда Кремль приступил к своей страшной попытке разорить поля и мастерские половины мира.

Глава 3 Мотивы и цели

Первой задачей Кремля было ограничить план Маршалла пределами Западной Европы.

Необходимо было любой ценой не допустить, чтобы американские средства хлынули в страны-сателлиты. Дружественные правительства там уже были созданы, однако недовольство ими оставалось весьма сильным.

В целом можно было сказать — и особенно это относилось к Чехословакии, — что народы Восточной Европы тянулись к России не только из страха перед Германией и из вполне понятного уважения к русской военной мощи, но и под действием сильного притяжения.

Западная Европа лежала обессиленной и опустошённой и не представляла собой никакой материально привлекательной силы.

Но если теперь американские доллары должны были помочь Западу вновь объединиться, а российским сателлитам позволили бы разделить возникшее вследствие этого благополучие, они неизбежно отвернулись бы от России и потянулись к Западу.

Тогда вся кропотливая работа предыдущих трёх лет, не говоря уже о плодах военных побед России, пошла бы прахом. Рано или поздно в Варшаве, Праге, Софии и других столицах снова возникли бы опорные пункты капитализма.

Сама настойчивость, с которой послушные правительства народных демократий доказывали необходимость своего участия в плане Маршалла, ясно показывала Москве, где скрывалась опасность.

Прага даже объявила о намерении присоединиться к плану, и Сталину пришлось открыто заставить её столь же открыто отказаться от участия.

Положение было крайне тревожным.

Более того, хотя Сталин мог без особого труда запретить своим сателлитам, или дружественным соседям, иметь какие-либо отношения с Западной Европой, население этих стран — а возможно, и их руководители — испытало бы сильнейшее негодование и горечь из-за того, что им не позволили воспользоваться блестящей возможностью разрешить многие давно мучившие их проблемы.

А если бы план Маршалла действительно оказался успешным в своей ограниченной сфере и вывел Западную Европу из материального разорения и нравственного банкротства, вернув ей уверенность и благосостояние, негодование Востока не знало бы границ.

Новое притяжение к Атлантическому миру рано или поздно оказалось бы сильнее тех связей, которые тогда удерживали сателлитов рядом с Россией.

Нам эти связи казались тяжелейшими цепями.

Но с точки зрения кремлёвского понимания безопасности они были не прочнее паутины.

Возможное участие самого Советского Союза в программе помощи Маршалла почти наверняка имело второстепенное значение.

Окажись Россия одна, без сателлитов, она, возможно, присоединилась бы к программе хотя бы на ограниченный срок и положила бы на собственную изобретательность, чтобы получить необходимое промышленное оборудование, не открывая при этом границы для разлагающего потока дешёвых американских потребительских товаров.

Возможно, она всё равно отказалась бы.

Но решающим вопросом, несомненно, оставалось положение сателлитов.

Примерно в это же время в Москве бушевал один из тех ожесточённых и малопонятных постороннему споров в высших партийных органах, посредством которых Политбюро разъясняло партийной интеллигенции свою идеологическую позицию.

На этот раз спор разгорелся между Н. А. Вознесенским, который сам входил в Политбюро, считался одним из самых молодых и блестящих его членов и возглавлял Государственную плановую комиссию, и известным профессором Варгой — экономистом венгерского происхождения, ставшим советским гражданином, протеже Сталина и признанным специалистом по капиталистической экономике.

Варга выдвинул мнение, что воздействие войны на капиталистическую экономику вызвало столь значительное движение в сторону государственного капитализма и отход от необузданного частного предпринимательства, что преобразованная капиталистическая система может получить новую отсрочку и тем самым на несколько лет отложить свой окончательный кризис и крушение.

Именно эту мысль самым решительным образом атаковал Вознесенский на страницах ежемесячного журнала Коммунистической партии «Большевик».

Спор продолжался весь 1948 год, поскольку Варга упорно отстаивал свою позицию, пока наконец не отрёкся от неё.

Но к тому времени Жданов, главный покровитель Вознесенского, уже умер, а сам Вознесенский был снят со всех должностей.

Подлинные обстоятельства этого дела восстановить невозможно.

Но совершенно ясно, что в 1947 году в высших правительственных кругах шёл ожесточённый спор о том, можно ли рассчитывать на послевоенный кризис в Америке.

И едва ли можно сомневаться, что этот спор сыграл большую роль в принятии окончательного решения — страшного и порочного, но в своём извращённом смысле также героического: раз и навсегда отрезать Советский Союз и все народы его сферы влияния от любой западной помощи и всеми силами препятствовать восстановлению благосостояния Запада.

Это благосостояние ещё многие десятилетия оставалось бы несравненно выше всего, что могла предложить Россия, и вскоре начало бы притягивать к себе окраины новой Советской империи, разрушая грандиозную кремлёвскую систему безопасности.

Вероятно, в предложении Маршалла те советские экономисты и теоретики, которые верили в близость американского кризиса, способного увлечь в катастрофу все страны, связанные с американской экономикой, увидели самое убедительное подтверждение собственных взглядов.

Они не могли воспринимать этот план как великодушный жест.

Для русского или марксиста в международной политике великодушных жестов не существует.

Не могли они видеть в нём и ответ на советскую угрозу, потому что самой советской угрозы не осознавали.

Следует вновь и вновь подчёркивать: те действия Советского Союза в Восточной Европе, которые нам тогда казались продуманной агрессией, самим русским представлялись совершенно естественными и ничем не примечательными.

Точно так же деятельность британских нефтяных компаний на Ближнем Востоке кажется англичанам естественной и ничем не примечательной.

Так же и использование режима наибольшего благоприятствования для подрыва Британской империи кажется американцам совершенно естественным — настолько естественным, что большинство из них вообще этого не замечает.

Не видя ни великодушного жеста, ни ответа на советскую агрессию, русский наблюдатель усмотрел бы в плане Маршалла лишь давно ожидаемый знак.

Господин Маршалл якобы стремился спасти американских предпринимателей от катастрофы, вынудив Европу шантажом предоставить им новые рынки и тем самым за счёт Европы ещё ненадолго отсрочить неизбежное крушение.

Как бы то ни было, война началась.

В ноябре 1947 года господа Жданов и Маленков учредили в Варшаве Коминформ.

Первоначальной идеи народных демократий — особой системы дружественных бастионов советской безопасности — теперь было недостаточно.

Сателлитов больше нельзя было оставлять независимыми.

Югославия уже проявляла серьёзные признаки самостоятельного мышления.

А Чехословакия, несмотря на неоднократные отказы Запада, слишком рано поставившего на Праге крест, оставалась далеко не столь надёжной, как хотелось Москве.

Теперь мы знаем, что Сталин готовился к окончательному столкновению с маршалом Тито задолго до того, как об этом узнал внешний мир.

Югославия должна была стать страшным примером того, что ожидает российских протеже, если они осмелятся подвергнуть сомнению методы своего хозяина.

Совершенно ясно и то, что решение уничтожить последние остатки независимости Чехословакии в июне того года было связано с готовившейся расправой над югославами.

Что касается внешнего мира, план был предельно прост: сорвать Европейскую программу восстановления и создание любого западного союза, который рассматривался как направленная против России коалиция с участием Западной Германии.

Этого предполагалось достичь, используя не только разногласия между западными народами и их правительствами и противоречия между самими западными правительствами, но также разжигая и направляя недовольство в отсталых и колониальных районах мира, чтобы разрушить главные опоры капиталистической экономики.

Одновременно восточноевропейские государства-сателлиты следовало ещё теснее включить в советскую экономику.

Чтобы устранить всякие сомнения, мы располагаем не только общими указаниями самого Ленина, уже приведёнными ранее в этой книге, но и современным изложением официального плана кампании, данным Л. П. Берией, бывшим главой российской тайной полиции и одним из трёх людей, управлявших Советским Союзом от имени Сталина.

В статье, написанной для «Правды» к семидесятилетию Сталина в декабре 1949 года, Берия заявил: Сталин определил программу действий для коммунистов.

Они должны:

1. Использовать все разногласия и противоречия в буржуазном лагере.
2. Предпринимать конкретные действия для объединения рабочего класса экономически развитых стран с освободительным движением в колониях и зависимых странах.
3. Довести до конца борьбу за единство профсоюзного движения.
4. Принимать активные меры для сближения пролетариата и мелкого крестьянства.
5. Поддерживать советскую власть и срывать интервенционистские происки империализма против Советского Союза, помня, что Советский Союз является опорной базой революционного движения во всех странах.

На практике эти указания означали следующее.

1. Настраивать все страны мира против Америки, а там, где это возможно, и друг против друга. Развивать и использовать любые классовые противоречия, хвататься за каждую подлинную жалобу, чтобы разжигать забастовки, а если подлинных оснований нет — создавать мнимые.
2. Добиваться, чтобы рабочие Европы выступали против собственных правительств в поддержку индонезийского, малайского, корейского и африканского национализма. Заставлять их выражать солидарность отказом грузить или производить оружие, предназначенное для использования против этих народов.
3. Поставить перед собой задачу подчинить западные профсоюзы путём искусного проникновения в их ряды, при необходимости действуя скрытно.
4. Не пренебрегать революционным потенциалом неграмотного крестьянства, как бы сильно вы его ни презирали, особенно в таких местах, как наиболее отсталые районы Италии.
5. Во всех вопросах и подробностях поддерживать советское правительство против собственного. Первейшая верность каждого коммуниста принадлежит Советскому Союзу. Всеми доступными средствами дискредитировать попытки собственных правительств объединиться против Советского Союза и прежде всего использовать растерянность народа и слабость его воли, отождествляя Советский Союз с делом мира.

И так далее.

Пять пунктов Берии представляют собой превосходное официальное изложение плана ведения холодной войны.

В остальном необходимые ответы должно было обеспечить разумное применение советской военной силы.

Добросовестным коммунистам не следовало ломать над этим голову, кроме как при всяком удобном случае отрицать сам факт её применения.

Им не требовалось также знать, что их собственная роль в холодной войне была направлена не на великую славу марксизма, который сам по себе больше не интересовал Сталина, а исключительно на выживание и ещё большее возвеличение Советского Союза как чудовищного нового воплощения царской империи Великобритании.

Глава 4 Россия и Германия

Чем беспристрастнее мы смотрим на Кремль — а именно такая отстранённость особенно необходима при изучении чуждых нам проявлений жизни, — тем менее убедительной становится мысль, будто в каждом шаге Советского Союза следует видеть медленное и намеренное осуществление чрезвычайно сложного и бесконечно дальновидного генерального плана.

Ничто не показывает ошибочность такого представления нагляднее, чем политика Сталина в отношении Германии. Исключением, возможно, является лишь история с маршалом Тито, которую мы рассмотрим в следующей главе.

На германской политике стоит остановиться подробно по нескольким причинам.

Во-первых, в глазах Сталина она имеет первостепенное значение. Во-вторых, она охватывает не только весь прошедший к настоящему времени период холодной войны, но и весь ход советской политики после Ялты. Наконец, мы можем исходить из достоверного и неопровержимого факта: Сталин боится Германии.

Рассматривая его германскую политику, необходимо начинать именно с этого обстоятельства, о котором легко забывают на фоне разговоров о том, что Кремль вновь вооружает Германию.

У Сталина имеются серьёзные причины для страха.

Германия с населением в семьдесят миллионов человек едва не уничтожила Советский Союз, население которого составляло двести миллионов, хотя одновременно воевала почти с половиной мира.

Даже потерпев поражение, Германия успела опустошить европейскую часть России, стать причиной гибели примерно десяти миллионов советских солдат и около двадцати миллионов мирных жителей и вдвое сократить промышленное производство Советского Союза.

Если бы Германию предоставили самой себе или оказали ей помощь западные союзники, ничто не помешало бы ей после некоторого восстановления повторить наступление 1941 года.

Поэтому одним из главных положений сталинской политики стало стремление не оставлять Германию предоставленной самой себе и не допустить, чтобы её вытолкнули в объятия враждебно настроенного западного союза.

Каким образом Сталин пытался достичь этих целей?

После окончания войны, в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями, Россия оккупировала восточную зону Германии, разделённой между четырьмя союзниками военного времени. Каждый из них получил также собственный сектор в Берлине.

Официально провозглашённой целью было создание четырёхстороннего военного управления всей Германией, которая должна была рассматриваться как единое экономическое целое.

Наиболее разумным курсом для России было бы установить максимально хорошие отношения с Америкой, Францией и Великобританией и совместно с ними разработать единую политику, которая обеспечила бы демилитаризацию и разоружение Германии.

Однако осуществлению такого курса мешала советская доктрина.

Временное сотрудничество с буржуазными державами считалось допустимым. Но для окончательного уничтожения германской угрозы требовалось постоянное сотрудничество, а оно, согласно большевистскому учению, было невозможно.

Поэтому единственная надежда России, как её понимали в Кремле, состояла в том, чтобы самостоятельно взять Германию под контроль и добиться превращения всей страны в российского сателлита.

Это позволило бы не только устранить германскую угрозу, но и значительно укрепить Россию в противостоянии с англосаксонскими державами и Францией.

Россия действительно пошла по этому пути. Однако до тех пор, пока не стало слишком поздно, она действовала недостаточно последовательно и решительно.

К тому времени Кремль сам подорвал имевшиеся у него возможности, преследуя второстепенные цели, противоречившие главной задаче.

Присоединив польскую часть Украины до линии Керзона и позволив полякам в качестве компенсации получить германские земли до линии Одер — Нейсе, Кремль, как уже отмечалось, позволил двум краткосрочным целям помешать достижению одной главной.

Кроме того, изгнание немецкого населения из польских «возвращённых земель», а также из Судетской области неизбежно привело к тому, что и чехи, и поляки стали больше всего на свете опасаться возрождения германской военной мощи.

Перед лицом этой угрозы они должны были обращаться за поддержкой к России, расплачиваясь за неё полным подчинением российским требованиям.

Такой замысел прекрасно выглядит на письменном столе московского Министерства иностранных дел. Это хитроумный план, рассчитанный почти как шахматная партия.

Но шахматы ведутся на неподвижной доске из шестидесяти четырёх клеток, тогда как международная политика развивается в постоянно меняющихся обстоятельствах.

Закрепив за собой Западную Украину и обеспечив покорность Польши и Чехословакии при помощи их страха перед Германией, Россия одновременно значительно затруднила для себя возможность когда-либо установить контроль над самой Германией.

Правда, она сохранила кое-что для будущего торга — значительную часть Восточной Пруссии, которую присоединила к себе.

При благоприятных обстоятельствах Россия могла бы передать эту территорию Польше в обмен на компромиссное изменение линии Одер — Нейсе в пользу Германии — разумеется, покорной Германии.

Однако вред, нанесённый перспективам России в Германии появлением огромной массы немецких беженцев с Востока, было нелегко устранить.

К тому же немцы вовсе не были настроены любить русских.

Вся Германия вплоть до Эльбы сначала увидела русских солдат, а затем русскую полицию — и тех и других в самом худшем виде, напоминавшем варварскую орду.

Сомнительно, что Кремль в полной мере оценил значение этого обстоятельства.

Сразу после победы началось организованное разграбление восточной зоны.

В результате к моменту провала переговоров министров иностранных дел о мирном договоре — в Лондоне в 1946 году и в Москве в 1947-м — отношения между Россией и Германией были хуже, чем можно было представить.

Не вызывало никаких сомнений, что Россия отчаянно и безотлагательно нуждалась в репарациях самого большого возможного масштаба и имела на них полное право.

Именно эта потребность заставила её разграбить восточную зону, изолировать её от германской экономики в целом и прекратить обещанные поставки в западные зоны.

Вероятно, где-то в сознании Сталина существовал смутный расчёт: усиливая голод и экономический развал на Западе, он не только раздувает там пламя революции, но и возлагает новые расходы на британских и американских налогоплательщиков, что может вызвать разногласия между двумя державами.

В действительности первым результатом стало то, что западные зоны ответили прекращением поставок в восточную зону, ещё больше усугубив её положение.

Одновременно министры иностранных дел западных стран начали решительно отвергать все требования о репарациях из текущего производства и все претензии России на участие в управлении Руром.

Они заявили, что изменят свою позицию лишь после того, как Россия откроет восточную зону для четырёхстороннего управления всей Германией как единым экономическим целым.

Иными словами, изолировав восточную зону ради немедленной добычи, Россия зарезала курицу, несущую золотые яйца.

К тому времени — во всяком случае, к началу 1947 года — Кремль, вероятно, окончательно отказался от надежды на стихийную революцию в пользу России.

Единственная возможность установить контроль над всей Германией теперь заключалась в создании централизованного германского правительства, которое можно было бы заманить или запугать и заставить перейти в российский лагерь.

Предполагалось действовать методами, сходными с теми, которые в то время готовились для бескровного захвата Чехословакии, ставшего классическим примером революции сверху.

Именно поэтому господин Молотов сопротивлялся всем попыткам западных союзников создать федеративное устройство Германии.

Федерация лишила бы восточногерманских коммунистов возможности захватить власть над всей страной через централизованный государственный аппарат, управляемый из Москвы.

Единственная мыслимая возможность добиться создания центрального правительства состояла для Кремля в ослаблении его контроля над восточной зоной.

Но по тем или иным причинам Кремль не хотел или не мог этого сделать.

Поэтому раскол сохранился.

В ответ западные державы сначала объединили свои оккупационные зоны, затем провели денежную реформу, которая уничтожила надежды Кремля породить на Западе ещё больший хаос из уже существующего хаоса, а после этого приступили к подготовке официального закона о создании западногерманского правительства.

Планы Кремля совершенно расстроились.

Сталину пришлось отказаться от идеи стихийной революции.

Своими манёврами в Восточной Германии он загнал себя в положение, полностью исключавшее возможность создания общегерманского центрального правительства, способного осуществить революцию сверху.

Он лишил себя репараций, в которых по-прежнему отчаянно нуждался.

Теперь перед ним возникала объединённая Западная Германия, в которой проживали две трети немецкого населения, находилась большая часть тяжёлой промышленности страны и жили восемь миллионов беженцев с Востока.

Эти люди не только не помогали созданию революционной ситуации — они жили лишь надеждой когда-нибудь вернуться домой.

Взамен Сталин получил свой драгоценный Львов и часть Украины, немало награбленного имущества, Польшу и Чехословакию, цеплявшиеся за него из страха перед Германией, а также неисчерпаемый источник для создания новых осложнений.

Кроме того, у него оставался один козырь — невозможное положение западных союзников в Берлине.

Сталин решил разыграть эту карту.

Его непосредственной целью было не допустить создания правительства Западной Германии, пока ещё не стало слишком поздно.

Более общей целью являлось стремление вынудить западных министров иностранных дел просить о новых переговорах.

Обе цели достигнуты не были.

После поразительного — и совершенно ошеломляющего для Кремля — успеха воздушного моста положение осталось прежним.

Точнее, оно ухудшилось, поскольку Кремль потерпел квазидипломатическое поражение огромного значения.

Казалось бы, Кремлю следовало пересмотреть свою политику.

Имеются признаки того, что примерно в это время действительно происходило довольно серьёзное и радикальное переосмысление.

Однако сохранить первоначальную решимость Кремлю помогало глубокое убеждение, что Соединённые Штаты стоят на пороге краха и, столкнувшись с экономической катастрофой, увлекут за собой восстановленную по плану Маршалла Западную Европу.

Поэтому, делая всё возможное, чтобы помешать восстановлению Европы и подорвать положение англосаксонских держав в Азии, Кремль сосредоточился на включении Восточной Германии в экономический блок стран-сателлитов.

Одновременно он успокаивал опасения поляков и чехов и создавал в Восточной Германии марионеточное правительство, опиравшееся на вооружённые силы.

Эти силы должны были при первых признаках крушения западного могущества захватить и подчинить всю Германию.

Совершенно ясно, что до весны 1950 года Кремль, получавший крайне недостоверные разведывательные сведения, считал настроения западных немцев значительно более благоприятными для России, чем они были в действительности.

Не подлежит сомнению, что захват Берлина восточногерманскими силами планировался на Троицу 1950 года.

Не вызывает сомнений и то, что от этого плана отказались.

Тем временем попытки Кремля расколоть западных союзников и ускорить их экономический крах, особенно стремление запугать Западную Европу и привести её к покорному фатализму перед советской мощью, вызвали в Америке гневную и воинственную реакцию.

Кроме того, созданием и вооружением восточногерманских военизированных формирований Кремль предоставил Западу предлог для перевооружения Западной Германии.

Корейские события, ярко показавшие возможности национальных армий, действующих при поддержке России, привели нас к нынешнему положению.

Теперь, как мне представляется, Кремль и его марионеточные правительства в Польше и Чехословакии смотрят на перевооружение Западной Германии с такой крайней тревогой, какую нам трудно себе вообразить.

И здесь мы возвращаемся к исходному пункту — к несомненному и вполне обоснованному страху Кремля перед Германией.

Несмотря на всю пропаганду, Кремль, вероятно, не боится немедленной американской агрессии.

Но, глядя на восемь миллионов беженцев с Востока, которым предстоит составить главную часть любой западногерманской армии, он убеждён: даже если атлантические державы захотят их

удержать, они не смогут остановить этих изгнанников, открыто заявляющих о решимости вернуться на родину.

Вся эта история производит весьма жалкое впечатление.

Говоря прямо, перед нами классический пример русской неспособности разумно вести дела.

После всего произошедшего едва ли возможно сохранять иллюзию, будто русские являются чрезвычайно талантливыми дипломатами.

Эта иллюзия, по-видимому, покоится на крайне ненадёжном основании.

Для успеха в дипломатии недостаточно сохранять непроницаемое выражение лица, уметь лгать и быть склонным к сложным и бессовестным расчётам.

Гораздо важнее обладать умом, здравым смыслом и некоторой свободой мышления при столкновении с неизведанными обстоятельствами.

Из предыдущих страниц мы уже достаточно узнали о русских, чтобы понять: именно этих качеств меньше всего следует ожидать от советского дипломата.

Политика Кремля в германском вопросе, как мне кажется, подтверждает на практике то, что мы ранее наблюдали в теории.

Начиная с 1944 года одной из главных забот Сталина было обезвредить германский милитаризм и раз и навсегда устранить германскую угрозу.

Но его дипломатия сумела возродить эту угрозу — во всяком случае, как её понимает сам Сталин, — быстрее, чем кто-либо мог представить.

Возможно, это была дипломатия господина Молотова, а не самого Сталина.

Но если Сталин не несёт ответственности за господина Молотова, то я не знаю, кто её несёт.

Перед нами история самого постыдного провала.

И не имеет значения, к какому объяснению склоняется читатель.

Можно, вслед за господином Дойчером, считать, что Сталин почти вслепую пробирался от одного кризиса к другому.

Можно разделять моё мнение, что он одновременно пытался делать слишком много вещей, некоторые из которых противоречили друг другу.

Существенно одно: какими бы ни были причины, ни Сталина, ни его советников нельзя считать создателями глубоко продуманных, тонких и дальновидных планов.

Тем более невозможно приписывать им тщательно разработанный заговор, который на протяжении десятилетий потрясений неуклонно вёл к покорению всего мира.

Они, возможно, действительно строят заговоры.

Но, как я уже замечал значительно раньше, желание ещё не означает исполнения.

К настоящему времени должно быть ясно: так называемый великий московский замысел при трезвом рассмотрении оказывается не более чем результатом противоречивого давления — внешнего и внутреннего — на группу людей, которые никак не могут избавиться от мысли, будто сами они такому давлению не подвержены.

Тем самым они лишь усугубляют общую путаницу.

Глава 5 Тито и страны-сателлиты

Можно, конечно, утверждать, что некоторые проявления неумелости, путаницы и отчаянной импровизации, которые в предыдущих главах приписывались Сталину, на самом деле вовсе не были ни ошибками, ни путаницей, ни импровизацией, а лишь кажутся таковыми потому, что великий замысел ещё не осуществился до конца.

В сущности, доказать можно почти всё.

Можно даже утверждать, будто Кремль, хладнокровно предавая Мао Цзэдуна и поддерживая Чан Кайши, что Сталин делал на протяжении многих лет, сознательно оказывал китайским коммунистам услугу. Остаётся лишь надеяться, что сами китайские коммунисты понимают действительность лучше.

Но одного утверждать невозможно — хотя люди, загипнотизированные советским могуществом, некоторое время очень старались это доказать: Сталин не понимал, что делает, когда предал маршала Тито анафеме.

Поэтому первое и самое важное значение дела Тито состоит именно в том, что оно окончательно и неопровержимо показало: Кремль способен ошибаться и действительно совершает ошибки.

Представлять его непогрешимым и неуязвимым — значит прямо помогать коммунистам, которые посвящают свою жалкую жизнь созданию именно такого впечатления.

Члены московского Политбюро как люди подвержены ошибкам. А поскольку они всё ещё остаются ленинцами, вся их философия основана на заблуждении — по крайней мере, именно так должны считать те из нас, кто ленинистом не является.

И всё же этим нелепым представителям отсталой страны, управляющим системой, основанной на ложных предпосылках, мы приписываем такую тонкость ума и такую способность предвидеть будущее, каких мировая история прежде не знала.

Возможно, те, кого до сих пор не убедили мои рассуждения, задумаются над ошибкой в отношении Тито и спросят себя: не могли ли люди, допустившие один промах столь огромного масштаба, совершить и другие?

Полезно было бы спросить и о другом: не выдаёт ли их именно настойчивое подчёркивание высочайшего значения теории и планирования?

Ведь особенно серьёзно относиться к теории приходится тем, кому недостаёт инстинктивного чувства действительности. А особенно серьёзно относиться к планированию — тем, у кого нет естественного чувства порядка.

Если первой причиной нашей благодарности Тито — независимо от того, одобряем мы его или нет, — стало то, что он просто показал Кремль растерянным и не знающим, что предпринять, то второй причиной является его смелость разоблачить сталинский блеф.

Этой стороне дела Тито не уделили должного внимания — возможно, потому, что нас пугают выводы, которые из неё следуют.

Однако факт остаётся фактом: руководитель небольшого и уязвимого государства, почти полностью окружённого противниками и, кроме того, лишённого прочного национального единства, осмелился противостоять Советскому Союзу гораздо решительнее и последовательнее, чем величайшие державы мира.

Руководила ли им вера, лучшее понимание действительного положения внутри Советского Союза и кольца сателлитов или же образ мыслей, сходный с тем, который лежит в основе этой книги, — по существу Тито сказал Сталину:

Я не верю вашим угрозам и готов поставить всё, что имею, на то, что вы блефуете.

Около трёх лет он сохраняет эту позицию, несмотря на единодушные проклятия соседей по Коминформу и самые мрачные угрозы насилием.

Значительную часть этого времени Югославия выдерживает экономическую блокаду, введённую именно тогда, когда её экономика была наиболее уязвима.

Если это не является уроком для всех нас — уроком, значение которого не зависит от того, удастся в конце концов устранить Тито или нет, — тогда я не знаю, что вообще можно назвать уроком.

Третья услуга, невольно оказанная маршалом Тито, состоит в том, что он заставил Кремль раскрыть свои карты.

Он вынудил Сталина показать истинную логику своего отношения к странам-сателлитам раньше и поспешнее, чем тот, по моему мнению, сделал бы это при иных обстоятельствах.

Возможно, как я полагаю, Тито даже вызвал настоящее изменение советской политики.

Столь упорно бросая вызов Москве, он заставил её фактически признать, что её подлинные интересы связаны не с распространением коммунистической идеологии как таковой, а — с какой бы целью это ни делалось — с русским империализмом.

Более того, однажды сбросив идеологическую маскировку, московское Политбюро повсюду за железным занавесом уже перестало притворяться, будто его интересует что-либо, кроме насильственного господства.

Эта демонстрация открыла глаза многим простодушным людям, которые вовсе не были попутчиками коммунизма. Она тяжело разочаровала не только попутчиков, но и некоторых до тех пор преданных членов коммунистических партий.

Наконец, нельзя упускать из виду воздействие восстания Тито на сам Кремль.

Психологическое потрясение, несомненно, было глубоким. Но, кроме того, случившееся полностью нарушило привычные представления советского руководства.

Мы уже видели, что Сталин и его соратники далеко не настолько одержимы собственным истолкованием марксизма-ленинизма, как стараются показать.

Тем не менее они, как уже говорилось, в значительной мере остаются пленниками марксистского образа мышления.

Они привыкли оправдывать все собственные действия и осуждать любые действия других людей на околomarксистском языке.

Но в деле Тито впервые за много лет они столкнулись с крупным событием, которое даже при самом богатом воображении невозможно объяснить хотя бы псевдомарксистскими понятиями.

Довольно легко заявить, что господа Эттли и Моррисон находятся на содержании Уолл-стрит или что британские угольные магнаты сами придумали национализацию как удобный способ переложить свои убытки на государство. Признаться, временами от подобных мыслей становится не по себе.

Но чтобы объяснить происшедшее в Югославии словами, способными убедить даже ребёнка, необходимо понимать действительность, устройство мира и поведение людей, остающихся людьми.

А внимательное изучение «Вопросов ленинизма» развитию такого понимания не способствует.

В конце концов было предложено следующее объяснение: Тито является шпионом и всегда им был.

Но Кремль не сразу решился открыто выдвинуть это утверждение, и слишком многие коммунисты знают, что оно ложно.

Благодаря этим и другим, ещё не упомянутым обстоятельствам дело Тито приобрело значение, которое, как мне кажется, до сих пор недостаточно широко осознано.

Оно прекрасно подтверждает общую мысль этой книги, которую читатель, вероятно, уже понял: Сталин и его соратники, говоря попросту, далеко не столь могущественны и проницательны, какими их принято считать.

Советская Россия, даже если ноги её сделаны не из глины — возможно, из гипса, — обладает, говоря вежливо, немалой долей тех самых внутренних противоречий, в которых Карл Маркс с воинственным блеском в глазах видел причину крушения организованных обществ.

Даже люди, наиболее решительно выступающие против нынешнего югославского режима и видящие в Тито, несмотря на его ссору со Сталиным, лишь уменьшенную копию самого Сталина, должны быть довольны тем, кем он себя показал.

В самом деле, худшее, что можно сказать о независимом Тито, состоит в том, что он не способен причинить народу Югославии больше несчастий, чем причинил бы Тито — самый пылкий и нетерпеливый ученик Сталина.

Первый вопрос, который необходимо задать, если мы хотим извлечь из этого дела какую-либо пользу, заключается в следующем: почему Россия допустила случившееся?

Точнее, почему, по ошибке позволив этому произойти, она уже три года позволяет Тито сохранять власть?

Россия допустила это, очевидно, потому, что не понимала положения.

Ей просто не приходило в голову, что слабая страна — особенно после урока Финляндии — осмелится бросить ей вызов.

Непосредственный и очевидный ответ на вопрос, почему Россия так долго позволяла Тито выжить, состоит, вероятно, в том, что ничего другого она сделать не могла.

Кремль, несомненно, пытался свергнуть Тито.

Он прибегал к угрозам, подобных которым прежде, вероятно, не слышали в условиях формального мира между государствами.

Он проводил военные демонстрации на границах Югославии и провоцировал инциденты.

Он призывал противников Тито внутри страны восстать против правительства и свергнуть его.

Он объявил торжественным долгом коммунистов всего мира борьбу против Тито.

И прежде всего он ввёл экономическую блокаду, рассчитанную на уничтожение югославской экономики.

Причём эта блокада вовсе не была безболезненной и для других сателлитов, особенно Чехословакии и Польши, которые понесли огромные убытки из-за прекращения торговли с Югославией.

Но, несмотря на всё это, прошло уже три года.

Тито по-прежнему стоит у власти, а Кремль до сих пор не прибег к самому действенному способу его устранения или изгнания из Белграда — к войне, открытой или замаскированной по испанскому образцу.

Поскольку, как мы видели, никаких нравственных возражений против войны у Кремля нет, напрашивается простой вывод: до настоящего времени он считал, что не может безопасно начать войну против Тито.

Возможно, Кремль также полагал — и должен был полагать, если всё сказанное им о провале Европейской программы восстановления и близости американского кризиса в Москве по-прежнему воспринималось всерьёз, — что экономическая блокада, дополненная активной и непрерывной войной нервов, рано или поздно сделает положение Тито невыносимым.

Но если Советский Союз действительно настолько готов к войне, как утверждают многие, следовало бы ожидать, что какое-либо военное вмешательство произошло бы уже давно.

Наиболее распространённый довод в пользу военных намерений Кремля связан с понятием «сохранения лица».

Утверждают, что Россия зашла уже слишком далеко и теперь обязана довести дело до конца хотя бы ради собственного престижа.

Так звучит этот довод, но в нём заключена ошибка.

Русских никогда особенно не интересовал престиж — их интересовала только сила.

То, чем они владеют, удерживается не авторитетом, а полицией.

Лишь на первоначальной стадии нового захватнического предприятия русские полагаются на престиж своей мощи, чтобы заранее парализовать предполагаемую жертву.

Когда же речь идёт об управлении уже созданной империей, они никогда не надеялись на одно лишь «сохранение лица» и прекрасно это понимают.

Подобные тонкости их вообще никогда не беспокоили.

Если бы цари действительно заботились о престиже, они никогда не уступили бы на Берлинском конгрессе.

Если бы Сталина волновало сохранение лица, он никогда не решился бы на бесчисленные предательства зарубежных коммунистических партий.

Максимум, что можно сказать: намереваясь запугать соседнее небольшое государство и заставить его подчиниться, Кремль мог бы опасаться проявлять слабость перед Тито.

Но в настоящее время больше не существует удобно расположенных малых государств, которые следовало бы запугивать.

Кроме того, есть все основания полагать, что Кремль продвинулся в Европу настолько далеко, насколько намерен или желает продвигаться в ближайшее время.

Если это так, довод о том, что Россия не может просто бросить дело Тито, словно горячую картофелину, и отказаться от собственных слов, не имеет никакого значения.

За тридцать лет своего правления большевики почти только тем и занимались, что бросали дела как горячие картофелины и нарушали свои обещания.

Их мало беспокоила потеря престижа после пакта Молотова — Риббентропа или предательства немецких коммунистов.

Согласно их особому способу расчёта — в долгосрочной перспективе, впрочем, ошибочному, — эти предательства им ничего не стоили.

Сам довод о «сохранении лица» показывает, какая путаница возникает, когда русских считают восточным народом. Я принимаю на веру, что для подлинного жителя Востока сохранение лица действительно имеет значение.

Но русские — не восточный народ.

Они русские.

Об их совершенно презрительном отношении к подобным тонкостям чести свидетельствует уже то, что никто — даже Америка и Британская империя при всём их могуществе — до сих пор не сделал очевидного вывода из слабости России перед Тито.

Обе великие державы позволили Тито в одиночку встретиться с драконом, тогда как сами дрожат от страха в тени и бессвязно рассуждают о бомбардировке Нью-Йорка...

Однако если этот конкретный довод — будто Кремль должен уничтожить Тито ради престижа — не выдерживает критики, престиж является далеко не единственной причиной возможного вооружённого нападения на Югославию.

И то обстоятельство, что подобного нападения пока не произошло, вовсе не означает, что оно никогда не произойдёт.

С уверенностью можно сказать лишь следующее: вся подготовка Коммунистической партии направлена против любой агрессивной войны, которую невозможно быстро завершить.

К этому добавляется традиционное русское нежелание штурмовать укреплённую позицию, если её можно подкопать изнутри.

Следует также учитывать почти несомненное обстоятельство, которое я вскоре постараюсь обосновать: Советский Союз ни в материальном, ни в нравственном отношении не готов рисковать и втягиваться во всеобщую войну.

Поэтому вероятность открытого нападения — как непосредственно советской армии, так и армий стран-сателлитов, тайно усиленных русскими войсками, — остаётся довольно небольшой.

В этой связи необходимо спросить и о том, действительно ли повторное завоевание Югославии и замена Тито советской марионеткой были бы выгодны Кремлю в ближайшие годы.

Возможность захватить Грецию уже упущена, а главное значение Югославии состояло именно в том, что она могла служить ступенью на пути к Греции.

Более того, можно спросить: не является ли Тито — злодей, троцкист и козёл отпущения — согласно запутанным расчётам московского Центрального комитета более ценным живым, чем мёртвым?

Ведь он служит удобным прикрытием и оправданием нового режима насилия в остальных странах-сателлитах — режима, возникновение которого сам Тито ускорил.

Необычайные усилия московских пропагандистов по возвеличиванию его как врага позволяют предположить, что этот вопрос вовсе не лишён смысла.

Вместо того чтобы преуменьшать значение Тито и делать вид, будто он ничего не значит, Кремль всеми силами создаёт из него образ главного врага, от которого исходит всякое зло.

А зла в странах-сателлитах достаточно, и его необходимо каким-то образом объяснять.

Такое возвеличивание идёт, разумеется, рука об руку с кампанией, цель которой — заставить европейцев забыть, что Тито вообще когда-либо был коммунистом.

Тем самым «верные» югославские коммунисты косвенно переводятся в ту же категорию, что коммунисты Франции или Италии: это товарищи, которых однажды великий отец заключит в свои объятия, но пока они вынуждены в одиночестве прокладывать собственную борозду.

Одновременно образ Тито-еретика полностью заслонился образом Тито — давнего англо-американского шпиона.

Всё это, как мне представляется, убедительно указывает на следующее: какие бы ограниченные кампании Кремль ни проводил, используя, например, Болгарию в качестве подставной силы, а идею независимости Македонии — как средство объединения внутренней югославской оппозиции, его настоящая политика состоит в том, чтобы мысленно вычеркнуть югославский угол карты.

Югославия должна изображаться как сила, угрожающая Коминформу подобно Уолл-стрит, но как территория, к которой Коминформ не имеет особого права собственности.

Значительно важнее того, что Россия делает с Югославией, представляется мне то, что она делает с оставшимися сателлитами — либо вследствие отпадения Тито, либо используя его отпадение как предлог.

Настолько, что едва ли будет преувеличением сказать: если бы Тито не существовало, Сталину пришлось бы его придумать.

При помощи чисток, судебных процессов и фактического превращения организации Коминформа в отдел советской тайной полиции Россия сознательно уничтожает сам дух коммунистических партий Восточной Европы.

Она делает это, обращаясь с наиболее пылкими и преданными коммунистическими руководителями точно так же, как прежде эти руководители обращались со своими социалистическими союзниками по народным фронтам.

Иными словами, недавние верные слуги Москвы — Райк в Венгрии, Костов в Болгарии и Гомулка в Польше — получили большую дозу собственного драгоценного лекарства.

Подобно тому как они вступали в союз с социалистами лишь затем, чтобы уничтожить их после совместного прихода к власти, теперь их самих выбрасывают за борт, как только они выполнили свою задачу и установили власть Кремля над собственными странами.

Этот необычайный процесс не только физически устраняет коммунистических руководителей, заражённых хотя бы малейшей склонностью к независимому мышлению или подозреваемых в возможности развития такой склонности.

Он разбил сердца лучших и наиболее деятельных членов восточноевропейских коммунистических партий.

Он уничтожил дух коммунизма в Восточной Европе.

Он выбросил за борт твёрдое ядро убеждённых фанатиков, которое стало бы самым ценным достоянием России, если бы главной заботой Политбюро действительно оставалось дальнейшее распространение коммунизма здесь и сейчас.

Как мы уже видели, это поведение характерно именно для России, а не для большевизма как революционного учения.

Россия отбрасывает добрую волю как сентиментальную роскошь — точно так же, как после недавней войны она отвергла добрую волю Запада.

Она уничтожает пылкий миссионерский дух, топя его в разочаровании, поскольку этот дух уже выполнил всё, что от него требовалось, — в данном случае обеспечил завоевание Восточной Европы, — и больше не нужен.

Проявляя столь беспощадный цинизм, Россия в обмен на своих убеждённых сторонников-миссионеров получает лишь запуганную и покорную массу рядовых членов, готовых исполнять приказы и ни на что больше не способных.

Из этого следует очевидный вывод: на нынешнем этапе мировой истории московское Политбюро решило, что рабская покорность и послушание подавленного населения ценнее, чем деятельные борцы, преданные коммунистическому делу.

Невозможно точно сказать, настолько ли пример Тито потряс Политбюро, возникнув в самый разгар борьбы с Западом, что оно почувствовало необходимость довести остальные страны-сателлиты до такой степени безнадёжности, при которой никакое восстание уже невозможно.

Возможно и другое: пример Тито просто используется как повод ускорить заранее определённую политику.

Однако, как мне кажется, совершенно ясно, что вызов Тито во многом определил время начала этого процесса и так или иначе заставил Кремль действовать раньше, чем он намеревался.

Это важно.

Мы возвращаемся к исходной мысли — к необходимости отделить Россию от коммунизма.

Россия остаётся Россией: вечной, внушительной и тревожащей мир силой, пронизанной поразительными слабостями.

Как Россия она, несомненно, не стремится к завоеванию всего мира, а желает лишь обеспечить собственное господствующее положение.

Коммунизм как революционное движение также представляет собой грозную силу.

Но если мы не принимаем его исходных положений, считать его вечным явлением нельзя.

Взятые по отдельности, ни Россия, ни коммунизм не способны завоевать мир.

Но Россия и коммунизм, соединённые вместе, образуют поистине страшную силу.

Именно необычайная случайность, соединившая вечную Россию с подлинным движением, стремившимся — пусть и крайне ошибочными средствами — улучшить участь человечества, привела мир к нынешней путанице.

Каждая из этих двух сил заслонила истинные очертания другой, вследствие чего остальные почти совершенно утратили способность видеть их по отдельности и понимать их подлинную природу.

Великое историческое значение Тито заключается в том, что он открыто показал всем разрыв между Россией и марксизмом.

Ранее мы могли проследить этот разрыв лишь по отдельным выступлениям Сталина и по терпеливой подземной работе советских историков, которые за грохочущей завесой марксистско-ленинской пропаганды незаметно трудились во славу Великороссии.

Внутри самой России эта пропаганда предоставляет правящему классу набор заклинаний, содержащих готовый ответ на любой вопрос и одновременно создающих ощущение исторической преемственности.

За пределами России она ставит энергию коммунистов всего мира на службу эгоцентрическим целям Кремля.

Часть 4 Трещина в кремлевской стене

Глава 1 Скрытые десять миллионов

Любая попытка оценить современное состояние России неизбежно носит характер личного суждения.

У нас недостаточно документально подтверждённых фактов, чтобы составить полную картину, а ни один очевидец не видел достаточно большую часть Советского Союза, чтобы на основании собственного опыта с уверенностью говорить обо всей стране.

Путь к истине о России — это медленный и трудный процесс.

Позвольте привести пример.

Сразу после войны, в 1946 году, я написал книгу, которая прежде всего представляла собой основанный на личных впечатлениях обзор России, какой я наблюдал в течение двух военных лет, дополненный значительным количеством прочитанного материала.

В этой книге содержались несколько упоминаний о власти полиции и системе принудительного труда, что вызвало шок у некоторых энтузиастов, относившихся к Советскому Союзу с большим восхищением.

В частности, я описал впечатление от трудового лагеря, который видел снаружи; подробно рассказал о группе заключённых, строивших новый порт в суровую арктическую зиму; привёл некоторые сведения о методах органов государственной безопасности, о ночных арестах, страхе перед внезапными исчезновениями и депортациями.

Был там и небольшой рассказ о сцене на железнодорожной станции Сызрани осенью 1941 года.

Там несколько сотен немцев Поволжья ожидали отправки в закрытых товарных вагонах, стоявших на запасном пути среди снега.

Они отправлялись в долгий путь на Восток — один из тех же маршрутов, по которому прошли около двухсот тысяч человек.

Всё это вместе было достаточно, чтобы показать существование насилия, произвольного применения власти и крайней человеческой нищеты в стране, которая называла себя оплотом света и прогресса.

Но этим всё и ограничивалось.

Больше тогда сказать было невозможно.

В тот момент я сам полагал, что описанные в книге сцены являются характерными для того, что происходило по всему Советскому Союзу.

Всё, казалось, указывало именно на это.

Были признания в советской прессе до войны.

Например, цифра в 250 тысяч заключённых, одновременно занятых на строительстве Беломорско-Балтийского канала под руководством Ягоды, тогдашнего главы ГПУ.

Были довоенные рассказы бежавших или освобождённых заключённых — редкие, отрывочные, но всё же существовавшие.

Были постоянные, хотя и осторожные упоминания об арестах и исчезновениях почти в каждой русской семье.

Было очевидное убеждение среди русского народа, что трудовые лагеря ожидают каждого, кто каким-либо образом переступит некую расплывчатую и невидимую границу дозволенного.

И следствием этого была глубокая деморализация — как среди простых людей, так и среди представителей власти.

Были загадочные исчезновения среди моих официальных знакомых и заметное смущение их коллег, когда речь заходила об отсутствующих.

Были воспоминания о ликвидации кулаков и о великих чистках тридцатых годов.

Но прежде всего были рассказы польских заключённых, освобождённых после пакта Сталина — Сикорского 1941 года.

Был внешний вид тех, кто выжил и направлялся из северных лагерей к пунктам приёма армии генерала Андерса в Куйбышеве и Бузулуке.

Были рассказы русских людей, которые ещё осмеливались открыто говорить против режима.

Были признания чиновников, коммунистов и их сторонников, которые, казалось, сами не понимали, насколько много они фактически раскрывают.

Но всё это было недостаточно.

Шла война.

Советский Союз боролся за само своё существование в условиях крайнего голода и невиданной жестокости.

При всей суровости жизни в России того времени и при всём мужестве и терпении, с которым народ переносил эти испытания, было невозможно определить, кем являлись те группы наполовину голодных, измученных людей в лохмотьях, которые расчищали снег на аэродромах, строили дороги или рубили лес.

Были ли они настоящими заключёнными?

Свободными гражданами, временно мобилизованными на чрезвычайные работы?

Или добровольцами, жертвовавшими собой ради страны?

С другой стороны, рядом с ужасными свидетельствами существовали и многочисленные примеры русских людей, возвращавшихся после принудительных работ в хорошем настроении и без заметной озлобленности.

Поэтому, каким бы сильным ни было подозрение, что Россия превратилась в огромный тюремный лагерь, невозможно было быть уверенным в этом — не говоря уже о том, чтобы доказать это объективно.

С тех пор многое изменилось.

Накопилось огромное количество новых свидетельств.

Теперь сцены, описанные в моей книге, можно считать не исключительными случаями, а характерными проявлениями советской действительности.

Но, к сожалению, на этом вопрос не заканчивается.

Мы имеем дело с Россией, а не с Западной Европой.

Всё, что удалось доказать, — это именно то, что принуждение, выражающееся в полицейском контроле и рабском труде, является частью советской системы и занимает в ней весьма значительное место.

Факт установлен.

Но остаётся вопрос: как его понимать?

Иными словами:

является ли советская уголовно-исправительная система проявлением зла, присущего исключительно сталинскому режиму, которое исчезло бы вместе с этим режимом, оставив свободную и более счастливую Россию?

Или же её следует рассматривать как нечто сходное с жестокой английской уголовной системой первых десятилетий промышленной революции?

Системой, при которой людей казнили, отправляли на каторжные суда и ссылали в далёкие колонии за самые незначительные преступления.

Системой, которая существовала одновременно с терпимым отношением к детскому труду на фабриках и к использованию женщин в шахтах в качестве живой тягловой силы.

И если это так, то воспринимается ли принудительный труд в невыносимых условиях самими русскими — основной массой русского народа — примерно так же, как воспринимаем его мы?

И может ли Россия перерасти свою нынешнюю полицейскую систему так же, как Англия смогла отказаться от казни людей за кражу овец, хотя это произошло совсем недавно?

Именно такие вопросы необходимо задавать, если мы действительно стремимся понять Россию.

Недостаточно просто доказать, что советская система во многих отношениях является системой крайней жестокости.

Нужно спросить: почему?

И нужно спросить: кажется ли то, что выглядит варварством в наших глазах, таким же варварством самым русским?

От ответов на эти вопросы зависит всё наше понимание советской действительности — а значит, и понимание истинной природы противника.

В 1914 году, при последнем русском царе, около тридцати тысяч человек отбывали наказание каторгой.

Каторга была совершенно отдельным видом наказания.

Она отличалась как от обычного тюремного заключения за уголовные или политические преступления, так и от ссылки, применявшейся главным образом к мятежной интеллигенции.

Существовали различные степени ссылки.

Самой распространённой и наиболее мягкой формой был простой запрет жить в определённых крупных городах или переселение в конкретные провинциальные города.

При царях многие города Сибири, а также некоторые города европейской части России были населены почти исключительно ссыльными.

Они лишь время от времени должны были отмечаться у начальника полиции.

В остальном они были свободны жить так, как могли.

Очень часто они даже находились в хороших отношениях с местным губернатором.

Такая практика продолжилась и при Сталине.

Доля жителей такого города, как Омск, которые живут там против своей воли, чрезвычайно велика. Но они не считаются опозоренными.

Им лишь запрещено свободно перемещаться по стране и поддерживать связь со своими прежними знакомыми и друзьями.

Я лично знал пожилого царского генерала, который около двадцати лет находился в ссылке в Ташкенте или где-то неподалёку.

Он жил там в весьма тяжёлых обстоятельствах.

Но во время войны, в период Сталинградской битвы, его доставили самолётом в Москву, и Кремль консультировался с ним по некоторым вопросам боевых действий на территории, которую он хорошо знал.

После этого его снова отправили обратно.

Кстати, именно этот сильный слой независимых людей делает общество Сибири значительно более живым, чем общество больших городов европейской России.

При Сталине возникла новая форма ссылки.

Хороший инженер, хороший врач или хороший специалист по болезням растений мог быть отправлен за какое-либо небольшое политическое нарушение в отдалённые районы Камчатки.

Там ему предстояло продолжать заниматься своей профессией.

Обычно он получал больше денег и имел больше привилегий, чем когда-либо получил бы дома.

Но он был навсегда оторван от жены и семьи.

Поскольку практически каждый русский человек рано или поздно совершает какое-нибудь небольшое политическое нарушение, становится очевидным, что само нарушение часто является лишь предлогом.

Настоящая цель — отправить ценного специалиста туда, где он нужен.

Наконец существует система массовой ссылки, или депортации.

Во время коллективизации миллионы так называемых кулаков были отправлены в Сибирь и поселены на новых землях.

Поскольку в этот период Кремль прежде всего стремился освоить целинные сельскохозяйственные районы Востока и Юга, невозможно точно определить, что было главным мотивом этих депортаций.

Было ли главной целью удалить кулаков с их привычных мест?

Или же сопротивление коллективизации использовалось как удобный предлог для переселения людей на неосвоенные территории?

Такие массовые переселения продолжались.

Во время войны и после неё они приобрели огромный масштаб.

Как уже говорилось, всё население Немецкой автономной республики Поволжья было насильно переселено в тяжелейших условиях из района Куйбышева и Саратова в Казахстан.

Это объяснялось соображениями безопасности.

После войны крымские татары были выселены из Крыма, а чеченцы и ингуши — с Кавказа.

Это представлялось наказанием за их предполагаемую нелояльность во время войны с Гитлером.

На освободившиеся земли переселялись русские, белорусы и украинцы — прежде всего украинцы.

Действительно, похоже, что примерно половина трудоспособного населения Узбекистана, Казахстана и Приморского края на советском Дальнем Востоке теперь состоит из украинцев.

Целью было разбавить население самой Украины.

Украина с её постоянными стремлениями к самостоятельности всегда оставалась своеобразным центром сопротивления центральной московской власти.

Евреи также были переселены из западных приграничных районов.

На их место перемещались великорусские переселенцы.

Такие операции проводились с чрезвычайной жестокостью и большим количеством бессердечного насилия.

Жертв перевозили в товарных вагонах.

Летом люди задыхались от жары.

Зимой погибали от холода.

Семьи разлучали.

Многие умирали в пути.

После бесконечного железнодорожного путешествия несчастных людей могли заставить ещё идти многие километры через леса и степи при недостатке пищи и воды.

При депортации чеченцев, которые уже пережили страшные испытания из-за сопротивления коллективизации, операция проводилась как настоящая военная кампания.

Под прикрытием специальных армейских учений долины и горные склоны были заполнены войсками.

Солдаты окружали деревни и поселения, затем постепенно сжимали кольцо, применяя оружие для подавления сопротивления.

Однако эта операция рассматривалась как наказание против мятежного и изменнического народа. Обычно же люди уходили спокойно под контролем полиции, а их страдания воспринимались как печальная, но неизбежная необходимость.

Всё это, однако, не имеет прямого отношения к принудительному труду как таковому — если рассматривать его как современный аналог царской каторги.

Это скорее сочетание принудительного распределения рабочей силы и обязательного переселения населения, осуществляемого самым грубым и жестоким образом.

Но для обычного русского человека подобные явления постепенно стали почти привычными.

Его связь с местом, которое он считает своим домом, крайне непрочна.

Например, в Москве сейчас живёт и работает не менее двух миллионов человек, которые формально вообще не имеют права находиться в городе.

В этом фантастически перенаселённом городе человек должен иметь официальную регистрацию, чтобы получить квартиру, комнату, часть комнаты или даже место в подвале по установленной государством, сравнительно низкой цене.

Но рабочих мест существует гораздо больше, чем город способен официально разместить даже по русским меркам.

А русские жилищные нормы весьма скромны: отдельная комната для семьи и место на общей кухне уже считаются почти роскошью.

Поэтому люди приезжают в город без регистрации и платят огромные суммы за право жить в чужой квартире — занимая часть комнаты или угол.

Как я уже говорил, только в Москве таких нелегальных жителей насчитываются по меньшей мере два миллиона.

И каждый из них может быть немедленно выслан, если его обнаружат.

Если человеку повезёт, его отправят в какой-нибудь новый город на Востоке, где не хватает рабочих рук.

Если не повезёт — в трудовой лагерь.

Именно такие обстоятельства делают совершенно невозможным проведение чёткой границы между уголовным принудительным трудом и государственным принуждением вообще.

Но если учитывать все поправки и исключения, число заключённых, приговорённых к наказанию, равнозначному царской каторге, действительно огромно.

Вместо тридцати тысяч человек в дореволюционной России сегодня, по всей видимости, существует по меньшей мере десять миллионов таких людей.

В это число входят также депортированные из стран Балтии — которые теперь, разумеется, являются советскими гражданами, — из Польши, Чехословакии и других стран.

Чтобы правильно понять эту проблему и увидеть её в исторической перспективе, необходимо обратиться к её происхождению.

Потому что, как и многие другие стороны советской жизни, о которых мы говорили в этой книге, эта ужасная и чудовищная система массового принудительного труда не была заранее создана каким-либо гениальным и злонамеренным планом.

Она просто постепенно выросла.

При царской системе каторги политические заключённые и обычные преступники содержались вместе — в условиях невыносимой жестокости и крайней антисанитарии.

Их жизнь полностью зависела от безответственных чиновников, которые сами были развращены и деморализованы властью над человеческой жизнью и смертью, а также полной удалённостью от любого центра контроля или цивилизации.

Царская каторга во всей своей ужасной полноте была описана несколькими русскими писателями, прежде всего Достоевским и Чеховым.

Эти описания физически потрясают английского читателя.

И всё же можно утверждать, что царская каторга отличалась от английской системы каторжных работ не по сути, а лишь по степени жестокости.

При большевиках каторга должна была исчезнуть.

Согласно советскому представлению, причины преступности должны были исчезнуть, а вместе с ними — и сама преступность.

Преступник рассматривался как результат разрушительной социальной среды.

Он был скорее жертвой обстоятельств, чем человеком, сознательно совершающим зло.

Заключённых, унаследованных от Николая II и уже слишком глубоко погрязших в преступности, чтобы их можно было немедленно исправить, предполагалось встречать с сочувствием и гуманностью.

Но одновременно необходимо было что-то делать с активными противниками нового строя.

Их требовалось изолировать, чтобы они не могли причинить вреда, а по возможности — перевоспитать.

Так появились исправительно-трудовые лагеря.

К сожалению, ими руководили не марксистские теоретики, а сотрудники только что созданной ЧК. И очень скоро выяснилось, что они являются духовными родственниками своих предшественников из царской охраны.

Условия в новых лагерях — особенно на знаменитых лагерях Соловецких островов в Белом море — быстро сравнялись, а затем и превзошли по ужасу лагеря, описанные Чеховым на Сахалине.

Россия оставалась Россией.

Теперь же вся страна находилась в состоянии хаоса, поражённая голодом и войной.

Заключённые были первыми, кто умирал от голода и болезней.

Никто не считал возможным тратить драгоценные ресурсы на их содержание.

Преступность, вместо того чтобы исчезнуть, выросла до невероятных размеров.

Число политических заключённых постоянно увеличивалось.

Строительство новых тюрем противоречило принципам раннего советского государства.

Поэтому лагеря становились всё более переполненными — даже по русским меркам.

Всё это происходило уже при «благотворном» правлении Ленина, который, конечно, не имел полного представления о том, что происходит.

Он, как и Николай II до него, был слишком занят другими делами.

И никто никогда не сообщал ему всей правды.

В 1923 году была предпринята большая попытка реформировать лагерную систему.

После этого большевики фактически отказались от подобных попыток.

Уже в 1918 году советское правительство было вынуждено издать постановление, согласно которому трудоспособные заключённые должны были привлекаться к:

«работам, необходимым государству, — работам, не более тяжёлым, чем труд неквалифицированных рабочих».

Некоторое время большое значение придавалось лозунгу:

«Перевоспитание трудом».

В первые годы этот лозунг не был полностью лишён смысла.

Одной из самых серьёзных проблем правительства было то, что делать с миллионами молодых хулиганов и беспризорников — детей, чьи родители погибли во время Гражданской войны и голода. Они огромными массами заполняли города.

Они жили тем, что могли добыть грабежом и убийством.

Самые опасные из них объединялись в банды.

Бывали периоды в Москве и Ленинграде, когда выйти ночью на улицу одному означало почти верную смерть от рук этих детей.

Они нападали группами, сбивали человека с ног числом и затем забивали его до смерти.

Самых опасных расстреливали без суда.

Но тех, кто ещё не был окончательно потерян, постепенно собирали, отправляли работать под вооружённой охраной, и неизвестное количество таких людей в конце концов удалось вернуть к нормальной жизни.

Я сам знал людей, которые начинали свою жизнь беспризорниками, но благодаря труду под контролем органов безопасности смогли вновь обрести чувство собственного достоинства.

Для них лозунг «перевоспитание трудом» действительно сработал.

Хотя он никогда не действовал в том широком масштабе, который предполагался, например, в фильме Эйзенштейна «Турксиб», посвящённом строительству Туркестано-Сибирской железной дороги — одного из главных испытаний этой системы.

Те, кого удалось спасти, были исключением.

Большинство заключённых продолжало умирать от истощения и болезней.

Целые лагеря уничтожались эпидемиями или просто голодом, когда не поступало необходимое снабжение.

Известны случаи на крайнем Севере, когда за одну зиму погибали не только все заключённые, но и весь лагерный персонал.

Преступность продолжала существовать.

Новые волны политических заключённых всё прибывали в лагеря.

Теперь это были уже не только священники и представители буржуазной оппозиции.

Это были революционеры, которые на каком-то невидимом историческом перекрёстке сделали «неправильный поворот».

По мере приближения конца первого десятилетия советской власти труд заключённых начал играть заметную, хотя ещё не рассчитанную роль в экономике страны.

А затем, довольно внезапно, с началом первой пятилетки и смертельной борьбой против кулаков, которая привела к переселению около пяти миллионов человек, вся проблема исправительного и принудительного труда в СССР приобрела совершенно новый характер.

До 1930 года ещё можно было утверждать, что, подобно царской каторге, советский принудительный труд является всего лишь русской разновидностью каторжного наказания.

Сравнительная суровость этого наказания в России отражала общую суровость русской жизни.

Ужасающие стороны всей системы объяснялись различиями между русским и английским представлением о том, что способен вынести человек физически; о пределах власти полиции и государства; о честности и ответственности государственных чиновников.

Советская Россия всегда испытывала нехватку продовольствия — часто отчаянную — и просто не имела возможности нормально кормить заключённых.

Существовало также чисто русское представление о том, что «политический» преступник более опасен и более виновен, чем обычный убийца, шантажист или вор.

Первые наносят вред всему обществу, тогда как вторые причиняют ущерб лишь отдельным людям. Это именно русское, а не большевистское представление.

Но с огромным притоком рабочей силы из деревень Западной России ГПУ, которое после ЧК получило полный контроль над заключёнными, обнаружило в своих руках чрезвычайно ценный ресурс.

Сначала оно ограничивалось тем, что предоставляло заключённых как дешёвую рабочую силу местным предприятиям.

Примерно так же британское правительство использовало немецких военнопленных на сельскохозяйственных работах или перемещённых лиц в Германии после войны.

Позднее ГПУ начало создавать собственные предприятия.

Первоначально правительство в своих официальных экономических расчётах вообще не учитывало этот принудительный труд.

Но в 1930 году новые органы планирования получили указание:

«Включить работу лиц, лишённых свободы, в плановую экономику пятилетнего плана».

Чтобы удовлетворить новые требования, ГПУ создало специальную организацию — ГУЛАГ, которая до сегодняшнего дня контролирует всю огромную сеть трудовых лагерей.

В некоторых районах, особенно на золотых приисках Колымы, начальники ГУЛАГа фактически являлись правителями огромных территорий.

Они управляли империями размером с европейское государство, населёнными рабами, инженерами и техническими специалистами, живущими в ссылке, а также собственным административным аппаратом.

Как правило, большинство лагерной охраны составляли сами сотрудники полиции, отправленные в ссылку за нарушения правил.

Теперь, проявляя чрезмерное усердие, они пытались таким образом заслужить возвращение к свободе.

А начальники лагерей, как и в царские времена, обычно набирались из числа осуждённых преступников.

Как уже говорилось, преступники считались менее опасными и менее виновными, чем «политические», которыми они управляли.

Следует отметить, что высшие сотрудники МВД в этих районах были чрезвычайно влиятельными и способными людьми.

Уэнделл Уилки во время своей поездки по Советскому Союзу обедал с одним из них.

Он воспринимал его просто как губернатора Магаданской области.

Но на самом деле это была так называемая «особая зона», полностью управляемая МВД.

Первый руководитель этого района, Рейнгольд Берзин, был расстрелян по обвинению в заговоре с иностранной державой с целью отделения Колымского края от Советского Союза.

Он обладал такой властью на своей территории, что Москва не решилась просто приказать его арестовать.

Вместо этого его вызвали в Москву, чтобы вручить благодарность правительства и высокую награду за достижения в создании страшного проекта «Дальстрой», стоившего бесчисленного количества человеческих жизней.

В самолёте, прибывшем за ним, находился специально отпечатанный экземпляр «Известий» с фальшивым указом о награждении.

Берзин, полностью успокоенный отсутствием подозрений, устроил банкет для прибывших чиновников.

После этого он сел в самолёт, направлявшийся в Москву, где был арестован под угрозой оружия.

Я рассказываю эту историю, опуская множество почти невероятных подробностей, чтобы подчеркнуть две вещи.

Во-первых, необычайную власть этих представителей МВД.

Во-вторых, тот элемент импровизированной, почти фантастической политики — скорее мрачно-театральной, чем действительно эффективной, — который постоянно проявляется в действиях Кремля.

Следующим этапом развития принудительно-трудовой системы стала передача ГПУ (так МВД называлось до 1938 года) ряда проектов, которыми прежде занимались соответствующие государственные ведомства — с использованием заключённых или без него.

Теперь ГПУ получало возможность выполнять такие задачи собственными методами.

А оно знало только один метод.

Оно установило собственный темп уже при строительстве Беломорско-Балтийского канала, завершённого всего за два года.

В какой-то момент на этом строительстве, которое позднее широко восхвалялось как пример социалистического строительства, якобы трудилось около 250 тысяч заключённых, включая высококвалифицированных инженеров.

Поскольку вся похвала в советской прессе досталась Генриху Ягоде, тогдашнему руководителю ГПУ, который позднее был расстрелян во время великой чистки, никто не имел права не понимать, что этот проект, как и сотни других, был исключительно делом ГПУ.

С этого момента проблема ГПУ состояла уже не в том, как лучше использовать имеющихся заключённых.

Проблема стала другой:

как получить больше заключённых для выполнения собственных проектов.

И именно эта проблема остаётся проблемой его преемника — МВД — и сегодня.

Начиная с 1931 года принудительный труд в СССР уже нельзя сравнивать с обычной каторгой.

По своей сути он стал больше напоминать рабство исчезнувших империй.

Такова общая картина истории, какой её уже давно представляли внимательные исследователи России.

Советское правительство никогда полностью не скрывало существование принудительного труда. Оно скрывало лишь его масштабы и условия, в которых он осуществлялся.

В советской прессе регулярно появлялись сообщения о хорошей работе, выполненной заключёнными.

Сам Молотов довольно открыто говорил об этом в тридцатые годы, когда британское правительство подняло вопрос о ввозе российского леса, заготовленного рабским трудом.

В самом деле, нет ничего необычного в том, что государство имеет некоторую систему принудительного труда в ограниченной форме — как советский аналог британской тюрьмы Дартмур.

Но значение имеет масштаб и причины существования такой системы.

И здесь, как и во многих других сторонах русской жизни, различие в степени превращается в различие по существу.

Подводя итог, можно сказать:

почти невозможно найти момент в развитии системы принудительного труда, когда глава советского государства мог бы сказать:

«Дальше — и ни шагу».

Сама природа большевистской диктатуры, соединённая с особенностями русского народа, своеобразием русской географии, необходимостью промышленной революции, враждебной изоляцией Советского Союза и традицией произвольного насилия в России — всё это сошлось вместе с неодолимой силой.

Контрреволюционную оппозицию необходимо было изолировать и заставить работать.

Апатичные, разочарованные массы, которым нужны были хлеб и земля, необходимо было запугать и заставить подчиниться.

Индустриализацию нужно было провести с головокружительной скоростью, одновременно экспортируя зерно, необходимое для питания собственного народа, чтобы купить машины.

Всех, кто мешал насильственной перестройке советской экономики, прежде всего крестьян, сопротивлявшихся коллективизации, необходимо было устранить.

Нужно было открывать новые районы для добычи золота и других металлов.

Нужно было осуществлять гигантские строительные проекты.

А это были районы, куда никто добровольно не поехал бы жить даже за большие деньги.

Районы, где зимы являются самыми холодными в мире.

Где лёд лежит почти у самой поверхности земли даже под жарким летним солнцем.

Где тысячи квадратных километров превращаются в безлюдные болота, а тучи комаров буквально закрывают солнечный свет.

Организацией, способной выполнить такие задачи, было ГПУ.

И оно постепенно приобрело собственный интерес в существовании лагерного труда.

Одновременно комиссары и руководители промышленности всех министерств требовали дешёвой, легко заменяемой рабочей силы.

И они получили её от ГПУ.

Добавьте к этому неуверенность непопулярного режима, ставшего ещё менее популярным из-за своей жестокости.

Режима, которым руководили русские с их традиционной одержимостью безопасностью и большевики, слишком хорошо знавшие историю заговоров и то, чего способны добиться несколько решительных революционеров.

Режима, который, кроме того, смертельно боялся нападения извне.

Кто может определить, сколько заключённых отправлялось в лагеря ради безопасности?

Сколько — чтобы показать пример другим нерадивым рабочим?

Сколько — потому что ГПУ нуждалось в рабочей силе для своих проектов?

И кто может отрицать, что весь этот кошмар стал полным воплощением советской путаницы, импровизации и политики выживания от одного дня к другому?

Политики, которая в итоге сама разрушает собственные цели и одновременно делает невозможным прекращение этой системы.

В 1941 году предприятия НКВД обеспечивали 14 процентов всего производственного выпуска Советского Союза.

В том же 1941 году СССР едва сохранял экономическую устойчивость.

Свободным рабочим едва хватало пищи и одежды.

Если бы Сталин одним указом внезапно открыл все лагеря, национальная экономика рухнула бы.

Это не было заранее запланировано.

Сегодня имеются признаки того, что предпринимаются серьёзные усилия для сокращения системы принудительного труда.

Всё чаще огромные землеройные машины заменяют несчастных рабов, которые раньше рыли каналы сломанными кирками и переносили землю на простых носилках.

Всё больше шахт механизмуется.

В отдалённых районах возникают новые города, привлекающие добровольных работников или людей, отправленных в более мягкие формы ссылки.

Это уменьшает потребность в лагерном труде.

После русификации стран Балтии МВД исчерпало свои последние крупные источники рабской рабочей силы.

В 1950 году представитель Американской федерации труда при Экономическом и социальном совете ООН представил фотокопию документа, содержащего инструкции МВД в странах Балтии.

В документе перечислялись категории людей, подлежащих аресту и отправке на принудительные работы в Россию:

- лица, занимавшие видные должности в гражданской или общественной службе;
- руководители антикоммунистических партий: социал-демократы, либералы;
- мелкие землевладельцы;
- активные члены еврейских, бундовских и сионистских организаций;
- представители различных мистических обществ, например масоны и теософы;
- промышленники;
- оптовые торговцы;
- владельцы крупных домов;
- судовладельцы;
- владельцы гостиниц и ресторанов;

- лица, ранее состоявшие на дипломатической службе;
- постоянные представители иностранных торговых компаний;
- родственники людей, бежавших за границу.

Всех этих людей забирали.

Мужей отделяли от жён.

Их отправляли в «отдалённые районы Сибири» теми же страшными эшелонами, которые так подробно описаны в книге **«Тёмная сторона луны»**.

Если Кремль не намерен завоёвывать новые территории, МВД больше не сможет рассчитывать на подобные массовые поступления рабочей силы.

Террор в России сохраняется и, вероятно, будет сохраняться.

Но по мере постепенного роста уровня жизни и замены ручного труда механизацией общее количество заключённых неизбежно должно сокращаться.

Тем не менее людей всё ещё можно получить сотнями различными способами.

Причём эти способы по-прежнему характерным образом соединяют две цели: необходимость обеспечения безопасности режима и потребность в дешёвой рабочей силе.

Например, деревня собирает подписи под просьбой вновь открыть церковь.

По закону достаточно двадцати подписей.

Их собирается двадцать три.

Но МВД арестовывает четырёх подписавшихся.

В результате церковь остаётся закрытой, а рабочая сила лагерей увеличивается.

Или другой пример.

Управдому большого жилого дома сообщают, что его преданность коммунистическому делу вызывает сомнения.

Ему предлагают доказать свою верность, обнаружив в доме врагов государства.

Тогда управдом тщательно выбирает двух-трёх людей, которые ему неприятны или случайно сказали что-нибудь неосторожное.

И однажды ночью их забирают.

Или фабрика не выполняет план.

Или оборудование постоянно выходит из строя.

Начинается отчаянный поиск виновных.

Когда виновные определены, их увозят.

По всему Советскому Союзу проходит безумная сеть шпионов и доносчиков.

Возможно, они не всегда эффективны в обнаружении настоящих заговоров.

Но они совершенно точно эффективны в том, чтобы держать любое недовольство глубоко под землёй.

И одновременно обеспечивать МВД людьми для отправки в лагерь.

Я так подробно остановился на системе принудительного труда в Советском Союзе не столько ради самой этой системы, сколько ради того, что она говорит нам о способе управления Россией.

Я пытался показать, что она не была сознательным творением злого диктатора.

Она стала результатом естественного процесса, выросшего из революции.

И мне кажется, что развитие принудительного труда и полицейской власти внутри страны даёт нам дополнительное понимание того, как действует советская внешняя политика.

Оно также служит ещё одним доказательством против представления, будто советская политика тщательно продумана заранее.

Или, по крайней мере, будто общее направление советской политики имеет какое-либо отношение к тому, чего большевики когда-либо действительно стремились достичь.

С одним великим исключением: **промышленной революцией.**

Глава 2 Цена холодной войны

После войны большинство русских надеялось, что Сталин ослабит хватку и станет править ими не столь жёстко.

Они не ожидали многого. Экономика страны лежала в развалинах, половина европейской части России была опустошена. Народ пережил страшные годы, но впереди его ожидали не менее тяжёлые времена: истощёнными силами, при катастрофической нехватке трудоспособных мужчин предстояло восстановить всё разрушенное.

Люди были изнурены до предела, однако готовы были взяться за эту работу — каждый в той области, которая касалась его непосредственно, — лишь бы их оставили в покое и хотя бы часть плодов их сизифова труда возвращалась к ним в виде продовольствия, жилья, домашней утвари и одежды.

Но страдания русских объяснялись не только войной.

С 1914 года русский народ почти непрерывно жил в условиях жесточайшего кризиса. Сначала была война, затем поражение и бунт; потом революция, Гражданская война, голод и иностранная интервенция; затем жестокости коллективизации и суровые испытания первых двух пятилеток; потом беспощадные чистки тридцатых годов; и наконец всё, чего удалось достичь ценой этих жертв и трудов, было разбито вдребезги Гитлером и его немцами.

Больше всего люди нуждались в отдыхе и мире.

Поначалу Сталин немало сделал для того, чтобы укрепить надежду на некоторое облегчение жизни. Возможно, это была лишь уловка, призванная ободрить русских перед предстоящими им тяжёлыми испытаниями. Однако существует немало свидетельств того, что и сам Сталин понимал необходимость некоторого смягчения режима.

Что касается великороссов, то теперь они как никогда прежде ощущали себя единым народом и черпали гордость и силу в собственном единстве.

Несмотря на все совершённые им в прошлом злодеяния, Сталин привёл их к блистательной победе и превратился в её символ. Обретя новую уверенность в себе, они были готовы забыть прошлое и встретить неизвестное будущее, вдохновляясь верой Сталина в их силы.

Самобытность Украины и Белоруссии была хотя бы символически признана: формально они получили внутри СССР статус отдельных национальных республик.

Мятежные крымские татары, а также чеченцы и ингуши Кавказа были жестоко и полностью сокрушены самым простым способом: их республики исчезли с карты Советского Союза, а сами народы вслед за немцами Поволжья были целиком депортированы в далёкие районы Сибири.

Тем самым Союз был укреплён, а потенциальные очаги беспорядков уничтожены.

Различными грубыми, но действенными средствами возвращавшихся солдат и гражданских лиц, которых подозревали в заражении «вирусом Запада», изолировали и лишали возможности оказывать какое-либо влияние.

Наименее надёжные элементы западных приграничных областей либо переселяли в советскую Азию, либо вместе с сотнями тысяч польских, латышских, эстонских и литовских патриотов отправляли в трудовые лагеря, расположенные в глубине России.

Всё это было проведено быстро и без лишнего шума.

Если не принимать во внимание несколько миллионов несчастных пленников, Сталин мог утверждать и даже искренне верить, что управляет Советским Союзом, который объединился в патриотической покорности его воле так прочно, как до войны едва ли можно было представить.

В народном воображении у него оставался лишь один возможный соперник — маршал Жуков, герой великих наступлений.

Однако маршала Жукова вместе с его выдающимися боевыми товарищами без лишнего шума отодвинули в сторону.

Сталин, победоносный вождь, принял звание генералиссимуса, и с этого времени никому больше не позволялось вспоминать о существовании какого-либо другого верховного командования.

Жукову и его соратникам запретили появляться в Москве, кроме тех случаев, когда их специально приглашали для консультаций. Их отправили командовать крупными стратегическими гарнизонами в приграничных провинциях.

Тем временем история войны уже переписывалась — снова и снова, — пока наконец повествование о Сталинградской битве не стало обходиться без единого упоминания великого главнокомандующего.

Все признаки указывали на то, что Россия намерена отгородиться от мира и залечивать собственные раны.

Железный занавес, отделявший её от Запада, был окончательно заперт неприметным и беспрецедентным указом, официально запрещающим браки между советскими гражданами и иностранцами. Этот указ появился в марте 1947 года.

Ждановская чистка, призванная освободить искусство от всех иностранных влияний, набрала силу осенью 1946 года. Космополитизм и формализм были объявлены смертными грехами.

Вскоре правительственные исследователи обнародовали свои любопытные открытия, положившие начало огромной волне российских притязаний на авторство едва ли не всех изобретений на свете — от пенициллина до электрической лампы.

Советский человек провозглашался высшим типом человеческого существа, а советский патриотизм — вершиной человеческого благородства.

Одновременно Кремль предпринял несколько заметных шагов к смягчению режима.

Отмена смертной казни в мае 1947 года стала великим символическим актом.

В России к смертной казни всегда относились с особым ужасом. Это может показаться странным в стране, где человеческая жизнь ценится так дёшево, где людей с величайшей лёгкостью ликвидируют и где миллионы заключённых в трудовых лагерях обречены на существование, слишком часто мало отличающееся от медленной смерти.

Но для русских отмена смертной казни стала высшим проявлением движения к благожелательному патернализму.

Оно сопровождалось заметным переходом к децентрализации управления, что для Советского Союза было совершенно новым явлением.

Сложная чистка в области искусства и в чрезмерно разросшейся партии сопровождалась большим шумом и яростью, но серьёзно пострадало сравнительно немного людей.

Два балета Прокофьева — «Золушка» и «Ромео и Джульетта» — продолжали идти на московской сцене даже после яростных нападок ждановской комиссии.

Даже ленинградского сатирика Зощенко, олицетворявшего всё то, чем не должен был быть советский писатель будущего, приговорили лишь к тому, чтобы сидеть дома и искупать свои грехи написанием романа о партизанах.

К слову сказать, этот роман, который, вероятно, напоминал бы трактат Ивлиева о движении бойскаутов, так никогда и не появился.

У этой чистки в сфере искусства была одна-единственная цель: вселить в русский народ уверенность в себе и в его особой способности подчинять силы природы своим потребностям. Это было так, словно министром культуры и пропаганды в кабинете лорда Пальмерстона назначили Сэмюэла Смайлса.

Но в России, по самой своей природе испытывающей отвращение к идее самосовершенствования, своего Смайлса не существовало.

Вместо него имелась лишь комиссия энергичных, но растерянных литературных приспособленцев, пытавшихся восполнить отсутствие собственных идей массовым повторением нескольких простых выдумок.

Когда ждановская чистка была в самом разгаре, я спросил группу русских писателей, в чём, собственно, заключается её смысл.

— Зощенко!.. — хором ответили они. — Зощенко, Зощенко, Зощенко!..

После этого каждый из них — за исключением одного, который впоследствии и сам впал в немилость, — произнёс небольшую речь, искоса наблюдая за своими коллегами.

Они объясняли, что Зощенко вызывает ненависть потому, что во время войны, вместо того чтобы сражаться или хотя бы сочинять патриотические стихи, он продолжал писать свою пораженческую чепуху.

Пока его соотечественники проливали кровь и умирали за него, он сидел среди апельсиновых рощ Ташкента и сочинял рассказы, в которых сравнивал Советский Союз с зоологическим садом.

Я ответил, что всё это вполне объясняет случай Зощенко.

Но гораздо больше меня интересовал случай госпожи Ахматовой — женщины уже немолодой, никогда не сравнивавшей комиссара с обезьяной и не делавшей ничего, кроме того, что спокойно писала свои изысканные стихи.

Чего от неё ожидали во время войны?

И почему, если она опозорила себя тем, что не писала военных стихов, не подвергли нападкам пожилого Михаила Пришвина — прекраснейшего русского писателя, автора рассказов о лесах и степях?

Что сделал во время войны он?

Наступило долгое молчание.

Внезапно его прервал обаятельный писатель средних лет, сочинявший патриотические песни о морях.

Все с тревогой посмотрели на него. Сам он тоже выглядел встревоженным, но решительно произнёс: — Думаю, я могу ответить господину двумя словами.

Все испуганно ахнули, но он смело продолжил:

— Ответ таков: господин Пришвин пишет о зверях и птицах и любит их. Поэтому он безвреден. Но госпожа Ахматова пишет о людях и не любит их. А это уже небезопасно.

Все расхохотались, а автор морских песен сел на место, сияя от удовлетворения и облегчения.

И в действительности он дал неплохой ответ.

Чистка в искусстве не имела никакого отношения ни к поведению советских писателей и художников во время войны, ни даже к их политическим взглядам.

С одной стороны, её целью было уничтожение иностранного влияния.

Но главная причина страха перед иностранным влиянием — именно она стояла за всеми разговорами о космополитизме и формализме — заключалась в том, что оно несло вирус сомнения в себе, иными словами — пессимизма.

Русские даже в лучшие времена слишком легко становятся жертвами пессимизма.

Но стоит нескольким десяткам русских художников и писателей начать задаваться вопросами о самих себе, о своей судьбе, смысле жизни и будущем человечества — и пятилетнему плану можно сказать прощай...

Всё было настолько просто — и, по существу, настолько безобидно.

И эта безобидность — разумеется, по русским меркам — была характерна для всей патерналистской политики первых двух послевоенных лет.

Даже энергичная кампания по возвращению колхозов к первоначальной жёсткости системы и по устранению злоупотреблений, возникших и широко распространившихся в годы войны, проводилась поначалу — опять же по сталинским меркам — с удивительной мягкостью.

Повсюду подчёркивалась скорее печаль, чем гнев.

Тысячи председателей колхозов, уличённых в продаже общественной собственности частным лицам или в освобождении людей от колхозных работ за определённую плату, снимались с должностей и понижались, но этим наказание обычно и ограничивалось.

Одновременно целый ряд правительственных решений показывал, что Кремль начинал больше доверять способности местных партийных и государственных органов самостоятельно управлять своими делами.

К концу 1947 года складывалось впечатление, что Сталин пришёл к следующему выводу: в Коммунистической партии Советского Союза ему удалось создать слой мужчин и женщин, настолько правоверных, что основные принципы воспринимались ими уже инстинктивно.

Поэтому поверхностные отклонения больше не имели серьёзного значения, а сами эти люди были способны действовать самостоятельно при самом общем контроле сверху.

Но затем, совершенно внезапно, всё движение к смягчению режима прекратилось, и почти сразу начался обратный процесс.

Это произошло в конце 1947 года.

В течение следующих двух лет центральная власть всё сильнее и судорожнее затягивала свою хватку, пока в январе 1950 года кульминацией этого процесса не стало восстановление смертной казни.

Сегодня Кремль давит на жизнь русского народа сильнее, чем когда-либо прежде, хотя это давление сопровождается меньшим кровопролитием, чем в прошлом.

И всё это, насколько можно судить, является ценой, которую народ Советского Союза платит за ведение холодной войны.

Подавленные бременем собственных жертв в этой трагикомической борьбе, мы забываем, что платить приходится и другой стороне.

Но Сталин прекрасно это понимает.

Глава 3 Нервы войны

Советский Союз имеет население почти в двести миллионов человек — в четыре раза больше, чем Великобритания, и примерно на треть больше, чем Соединённые Штаты.

Он занимает одну шестую часть всей суши земного шара.

Он располагает тысячами квадратных миль самых плодородных земель в мире.

Его природные богатства почти неисчерпаемы: огромные запасы угля, железа, цветных металлов и нефти.

У него имеется постоянная армия, включая краткосрочных призывников, численностью почти три миллиона человек.

Им управляют люди, не испытывающие нравственных сомнений, верящие в верховенство силы и располагающие хорошо организованной пятой колонной практически во всех странах мира — за единственным исключением Швейцарии.

Именно эти факты загипнотизировали нас и заставили поверить, будто Советский Союз является величайшей державой мира.

Они же довели нас до состояния почти истерического страха.

Но давайте посмотрим на эти факты с другой стороны.

Приведём несколько цифр.

При всём своём огромном населении Советский Союз должен был произвести в 1950 году лишь около 250 миллионов тонн угля.

Для сравнения: Великобритания — 200 миллионов тонн, а Америка — 700 миллионов тонн.

Что касается стали, то соотношение было следующим:

Советский Союз — 25 миллионов тонн;

Великобритания — 15 миллионов тонн;

Америка — 90 миллионов тонн.

Производство нефти в Советском Союзе в 1950 году должно было составить примерно 35 миллионов тонн, тогда как в Америке — 250 миллионов тонн.

Таковы показатели тяжёлой промышленности.

Теперь посмотрим на сельское хозяйство.

Несмотря на значительно увеличившееся население и несмотря на присоединение к Советскому Союзу всех прибалтийских государств, части Восточной Пруссии, польской Украины и ряда других территорий — включая Молдавию и Бессарабию, — производство зерна в 1950 году лишь немного превысило уровень 1940 года.

А в 1940 году общий объём производства всё ещё оставался ниже уровня 1928 года — последнего года перед началом коллективизации.

В 1950 году в Советском Союзе использовалось около 600 тысяч тракторов.

В Великобритании — около 260 тысяч.

В Соединённых Штатах — более трёх миллионов.

Если говорить о механизированном транспорте в сельском хозяйстве, то количество грузовых автомобилей, поставленных в Советском Союзе для всех целей, составляло всего 64 тысячи.

В Америке — более двух миллионов.

Я обычно избегал перегружать эту книгу цифрами.

Но мне кажется, что именно приведённые здесь данные лучше всего показывают огромную разницу между потенциальными возможностями Советского Союза и его реальным состоянием.

Они показывают, что, несмотря на гигантскую территорию и практически неограниченные природные ресурсы, производительность советской экономики настолько низка, что Советскому Союзу понадобилось четырёхкратное превосходство в численности населения, чтобы превзойти промышленное производство Великобритании.

И они показывают также, что Советский Союз не имеет почти никакой надежды догнать Соединённые Штаты в течение ближайших десятилетий.

Для целей данного рассуждения нет необходимости подробно исследовать причины столь низкой производительности.

Я уже очень кратко касался их ранее.

Сейчас нас интересует лишь сам факт.

Это факт, который определяет взгляд Сталина на внешний мир.

Это также факт, который лежит в основе всей его внутренней политики.

Стремление достичь и поддерживать этот сравнительно скромный уровень производства, постоянно увеличивая его, символизируется пятилетними планами.

Именно они поглощают большую часть энергии государства и народа.

И именно они обрекли русские массы на существование на грани простого выживания — в условиях крайней суровости и лишений.

Советское правительство прекрасно осознаёт низкий уровень производства на душу населения.

В 1939 году сам Сталин сформулировал проблему следующим образом:

«В чём именно мы отстаём?

Мы отстаём экономически по объёму промышленного производства на душу населения.

В 1938 году мы произвели около 15 миллионов тонн чугуна, тогда как Великобритания произвела 7 миллионов тонн.

Может показаться, что мы находимся в лучшем положении, чем Великобритания.

Но если разделить количество тонн на всё население, то окажется, что производство чугуна на душу населения в 1938 году составляло:

в Великобритании — 145 килограммов,

а в СССР — только 87 килограммов.

Или другой пример.

Если Великобритания произвела 10 миллионов 800 тысяч тонн стали и около 29 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а СССР — 18 миллионов тонн стали и более 39 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, может показаться, что мы снова впереди.

Но если разделить эти показатели на население, то окажется:

в Великобритании производство стали составляло 226 килограммов на человека, а электроэнергии — 620 киловатт-часов;

в СССР — только 107 килограммов стали и 223 киловатт-часа электроэнергии на человека.

Следовательно, чтобы превзойти Великобританию в производстве чугуна, которое в 1938 году составляло там 7 миллионов тонн, мы должны увеличить собственное производство до 25 миллионов тонн в год».

Этого Советский Союз пока не достиг.

План на 1950 год предусматривал производство 19,5 миллиона тонн чугуна.

Тем временем Великобритания увеличила свои семь миллионов тонн до десяти миллионов.

Однако одних производственных цифр недостаточно.

Несмотря на гигантские усилия Советского Союза и впечатляющее восстановление после войны — производство стали составляло:

18 миллионов тонн в 1938 году,

9 миллионов тонн в 1945 году,

25 миллионов тонн в 1950 году,

— эти цифры ясно показывают, что русские значительно хуже обеспечены промышленными ресурсами, чем британцы, не говоря уже об американцах.

С другой стороны, каждый миллион тонн стали в Советском Союзе значительно больше способствует развитию тяжёлой промышленности и военной мощи, чем такой же миллион тонн в Британии или Америке.

Причина проста.

В Советском Союзе лишь минимальная часть ресурсов направляется на улучшение условий жизни. Основная масса идёт на производство оборудования, машин, вооружения, а также на самое необходимое питание и самое элементарное жильё.

В Великобритании даже в её нынешних трудных условиях, а особенно в Америке, значительная часть ежегодного производства направляется на поддержание уровня жизни населения, о котором в Советском Союзе даже мечтать не приходится.

И именно это частично уничтожает преимущество Запада, связанное с наличием высокоразвитой промышленной экономики, работающей на полную мощность.

Тем не менее, когда Кремль смотрит на Америку, он видит ежегодное производство 90 миллионов тонн стали, которое осуществляется без особого напряжения и используется для дальнейшего развития и обогащения экономики, уже работающей на максимальных оборотах.

Эта сталь не требуется для восстановления разрушенной страны.

Практически вся она в любой момент может быть направлена на производство вооружений и боеприпасов.

А американская военная мощь уже включает крупнейший в мире военно-морской флот и атомную бомбу.

Этому гигантскому потенциалу Кремль может противопоставить лишь немного больше одной тонны советской стали на каждые четыре американские.

Причём эта советская сталь производится ценой максимального напряжения всех сил и сохранения уровня жизни народа на опасно низком уровне.

В настоящее время большая часть советского производства стали нужна не для будущей войны, а для восстановления разрушенной экономики, которая даже до разрушения была примитивной по сравнению с американской.

В феврале 1946 года Сталин провозгласил самую высокую из всех заявленных целей советского планирования — утроение довоенного производства.

Это был огромный призыв к жертвам.

Потому что прежде чем увеличить довоенный уровень производства, его сначала нужно было восстановить.

А на это требовались четыре года первой пятилетки.

И именно в этой речи Сталин впервые дал понять, что после поражения Германии русские не могут рассчитывать на вечный мир:

«Мы должны добиться положения, при котором наша промышленность сможет ежегодно производить до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля и до 60 миллионов тонн нефти.

Только при таких условиях мы можем считать нашу страну гарантированной от любых случайностей.

Думаю, для этого потребуется ещё три пятилетки, если не больше».

Многое произошло после этих смелых слов.

В начале 1946 года Сталин всё ещё рассчитывал получить большие репарации от Германии и всё ещё надеялся на американские кредиты.

Холодная война могла казаться лишь фантазией наиболее догматичных и высокомерных членов Центрального комитета.

Но когда через полтора года было принято великое решение, оно значительно увеличило бремя.

Большая часть ресурсов теперь должна была направляться на перевооружение.

Кроме того, по соображениям безопасности необходимо было ускорить перенос промышленного и сельскохозяйственного центра Советского Союза из Украины на Урал и далее на Восток.

В то же время эти действительно героические планы — которые даже при их создании признавали огромное превосходство американского производства на протяжении ближайших пятнадцати лет — стали выглядеть почти нелепыми.

Одна только Великобритания расширила производство настолько, что это в 1946 году, вероятно, казалось невозможным советским наблюдателям, уверенным в неизбежном упадке британской экономики.

Её производство стали выросло:

с 11 миллионов тонн в 1938 году

до 16 миллионов тонн.

Новые отрасли промышленности появились по всей Британской империи.

Но окончательно разрушила советские расчёты мобилизация американской промышленности для ведения холодной войны.

Через три года американские сталелитейные мощности должны были увеличиться на величину, которая сама по себе превышала весь объём британского производства стали и составляла примерно две трети всей советской мощности.

И всё это — дополнительно к уже существующему производству в 90 миллионов тонн.

В течение следующих трёх лет Америка собиралась потратить на оборону сумму, в пять раз превышающую весь национальный доход Великобритании.

И так далее.

Самое поразительное во всём этом предприятии заключается в том, что этот колоссальный объём производства считался лишь третьей того, что Америка могла бы производить в случае войны.

Именно к этому положению советская дипломатия привела Сталина всего за пять коротких лет.

Великая держава не может существовать только за счёт стали.

Ей необходима также пища.

В России для большинства населения слово «пища» по-прежнему означает прежде всего хлеб — чёрный или белый, пшеничный или ржаной, — а также гречневую кашу и подсолнечное масло как основной источник жиров.

Мясо, молоко, масло, рыба и свежие овощи являются дополнительными продуктами, почти недоступной роскошью.

В 1949 году официально было заявлено, что производство зерна и картофеля наконец превысило довоенный уровень.

Однако внимательное изучение одной лишь советской прессы позволяет доказать, что это утверждение не соответствовало действительности.

Официальные данные об урожае 1949 года впоследствии, район за районом, были признаны завышенными вследствие фальсификаций.

Эти искажения позднее были публично разоблачены.

Но сами данные никогда официально не были исправлены.

Доктор Наун Ясный в своём фундаментальном труде о советском сельском хозяйстве убедительно доказал то, что я давно подозревал: официальная статистика урожая постоянно завышалась примерно на двадцать процентов начиная с первых лет коллективизации, то есть с начала тридцатых годов.

Это достигалось довольно простым способом.

Старая и точная система подсчёта, основанная на количестве зерна, которое действительно было собрано и отправлено на хранение, была заменена практикой оценки веса урожая прямо в поле.

То есть подсчитывалось не то, что реально поступило в хозяйства и склады, а то, что якобы должно было быть получено.

Подобная практика существовала и в промышленности.

Но даже если принять официальные данные Центрального статистического управления, достижение довоенного уровня урожайности в 1949 году нельзя считать впечатляющим результатом.

В течение трёх последних предвоенных лет количество зерна на душу населения было меньше, чем в 1928 году — накануне коллективизации.

С 1938 года население Советского Союза, несмотря на огромные военные потери, по оценкам, увеличилось примерно на тридцать миллионов человек.

Это произошло отчасти благодаря очень высокой рождаемости, а отчасти вследствие присоединения новых территорий и включения их населения в состав СССР.

Одновременно эти новые территории значительно увеличили площадь обрабатываемых земель.

Однако ни одно из этих обстоятельств в советской статистике не отражалось.

Поэтому, когда чрезвычайно способный министр сельского хозяйства Бенедиктов с гордостью заявляет, что производство 1949 года превысило довоенный уровень, фактически он сообщает следующее:

Согласно данным Центрального статистического управления — которые, как известно, завышены примерно на двадцать процентов, — производство основных продуктов питания в 1949 году на территории Советского Союза вместе с тремя прибалтийскими республиками — Литвой, Эстонией и Латвией, — частью Восточной Пруссии, польской Украиной, Закарпатской Украиной, Молдавией и Бессарабией лишь немного превысило производство основных продуктов питания в 1940 году на территории прежнего Советского Союза без этих новых присоединений.

А это означает, что количество продуктов на душу населения сегодня значительно ниже, чем в 1940 году.

И ещё ниже, чем в 1928 году.

А 1928 год, о чём мы до сих пор не упоминали, лишь примерно достигал уровня 1914 года.

Раз уж мы заговорили о советской статистике — а описанный выше метод характерен для всей системы, — следует отметить ещё один момент, который эти цифры совершенно не отражают.

Количество, разнообразие и качество продуктов питания, которые были достаточны для медленного, в значительной степени неграмотного, на три четверти крестьянского населения 1928 года, совершенно недостаточны для населения 1949 года.

Современное население Советского Союза значительно отличается от прежнего.

В нём гораздо больше людей, занимающихся умственным трудом, технической работой, сложным производством и механизированным трудом.

Таким людям недостаточно тяжёлой и однообразной пищи из хлеба и картофеля.

Если от них требуется высокая производительность, им необходимо более полноценное питание.

Именно эти цифры стоят за теми впечатлениями, которые я описывал ранее в главе о настроениях России в 1947 году.

Это именно те показатели, которые руководство Коммунистической партии всеми силами пытается улучшить.

И именно они делают невозможным для Сталина вести холодную войну против Запада, не доводя народ почти до предела выносливости — второй раз за двадцать лет.

Причём это происходит именно тогда, когда люди уже позволили себе поверить, что наконец наступает возможность немного передохнуть.

На этом мы можем закончить разговор о цифрах.

Но, размышляя о величественном фасаде военной мощи Советского Союза, мы никогда не должны забывать эти показатели.

Глава 4 Быстрей, быстрей!

В 1941 году Советский Союз едва не потерпел поражение от Германии. Сталин это знал. Для страны с населением в сто восемьдесят миллионов человек, которая на протяжении предыдущих двенадцати лет отдавала почти все свои силы и средства подготовке к оборонительной войне, подобный исход был не чем иным, как позорным провалом. И это Сталин тоже понимал.

Он знал и причину случившегося. Более того, он предвидел такую возможность — именно поэтому прилагал отчаянные усилия, чтобы умиротворить нацистского зверя. Однако затем неумелая дипломатия — его собственная или господина Молотова — подтолкнула этого зверя к нападению раньше, чем он, предоставленный самому себе, решился бы это сделать.

Мне представляется, что изучение относящихся к этому вопросу документов почти не оставляет сомнений: Гитлер, одержав победу над Англией, рано или поздно всё равно двинулся бы на Украину. Но непосредственным толчком к нападению в 1941 году стало почти клаустрофобическое ощущение, будто его теснят со всех сторон и пытаются им помыкать. Это ощущение возникло у него вследствие советского давления в вопросе о Бессарабии.

Само же это давление было порождено почти маниакальной одержимостью безопасностью, из-за которой Кремль не мог оставить всё как есть и не вмешиваться. Чем больше всё меняется, тем больше остаётся прежним... Но этого Сталин, увы, не понимал.

Сталин знал, что вторжение Гитлера в Россию обернётся тяжёлыми последствиями, потому что он довёл свой народ до предела — особенно в уязвимых и отчасти чуждых Москве приграничных областях, где неприязнь к московской власти, вероятно, никогда не исчезнет.

И действительно, когда нацисты вторглись в Белоруссию и на Украину, их встречали как освободителей от московской тирании. Население не просто приветствовало завоевателей хлебом-солью — оно выступало против Красной армии.

Я говорю сейчас не об активных украинских сепаратистах, которые перешли на сторону немцев, а позднее служили под командованием генерала Власова, также переметнувшегося к противнику после того, как он героически участвовал в обороне Москвы. Я говорю об обычных сельских жителях.

И ссылаюсь я не на свидетельства беженцев или перебежчиков, а на рассказы солдат Красной армии, продолжавших сражаться. Они с ужасом вспоминали, как поступали с ними крестьяне, когда им приходилось вести арьергардные бои, в то время как целые соединения их товарищей на обоих флангах складывали оружие.

Удивительной особенностью крушения Красной армии было то, что одни её части сражались как львы, тогда как другие вообще не оказывали сопротивления. Даже генерал Власов, впоследствии повешенный как изменник, прежде чем перейти на другую сторону, сражался под Москвой с исключительным мужеством.

Всё изменило поведение немцев. Они действовали так, как теперь уже хорошо известно всему миру, и очень скоро не оставили никаких сомнений в том, что были ещё хуже коммунистов и НКВД.

Германия проиграла войну с Россией во многом из-за политики пресловутого господина Розенберга, требовавшего применять против русского населения огонь и террор, а также из-за поразительной лёгкости, с которой нашлось множество немцев, готовых с удовольствием проводить эту политику в жизнь.

Порой невольно задаёшься вопросом: чем занимаются эти люди теперь?..

Так Украина и Белоруссия начали отвечать партизанской борьбой. Сильнейшие морозы ранней зимы застали немцев неподготовленными. Они совсем немного переоценили свои силы у ворот Москвы — подобно тому как позднее в ходе войны Роммель лишь немного переоценил свои возможности на подступах к Каиру.

К этому времени Красная армия уже оказывала упорное сопротивление, и Москву удалось спасти. Однако в 1942 году почти то же самое повторилось под Ростовом — до тех пор, пока русские на юге также не усвоили преподанный им урок и не дали отпор под Сталинградом.

В обоих случаях исход висел на волоске. А висел он на волоске потому, что народ был уже сыт Сталиным по горло.

И теперь вся эта трагедия повторялась вновь.

За показной сталинской отеческой благожелательностью скрывалось глубокое внутреннее беспокойство. Сталин помнил, что произошло в 1941 и 1942 годах. Он помнил крестьянок в не затронутых войной районах за Москвой и Воронежем, которые осенью 1941 года предпочитали оставить урожай гнить на полях, лишь бы не убирать его для государства.

Он помнил полное разложение Красной армии на Южном фронте, особенно проявившееся в массовых случаях членовредительства. Для наблюдения за действующей армией, в том числе за её партийными организаторами, пришлось создать специальную службу НКВД — СМЕРШ, то есть «Смерть шпионам».

Он помнил Москву в октябре 1941 года, когда после частичной эвакуации государственных учреждений в Куйбышев аппарат НКВД дал сбой, а его сотрудники начали сжигать свои архивы. Партийные чиновники толпами бежали в самые отдалённые районы России, прихватив с собой партийные средства. Жители Москвы поднялись и принялись грабить магазины и учреждения.

Распространение беспорядков остановил сам Сталин, неожиданно появившийся, словно некое знамение, в огромном зале станции метро «Маяковская», где он произнёс речь по случаю двадцать третьей годовщины революции.

Все эти воспоминания — и многие другие — не оставляли его. Он помнил, как великая нация начинала распадаться, потому что её довели до предела человеческих сил. Теперь же перед ним возникли новые опасности — прежде всего заразительное влияние Запада, которое несли с собой миллионы людей, возвращавшихся домой.

И потому Сталин говорил народу России, что он велик, — и это было правдой; что он ему доверяет, — а это было неправдой; и что, хотя людям всё ещё придётся трудиться гораздо больше, чем им хотелось бы, он позаботится о том, чтобы прежняя суровость режима была смягчена. И, как я уже говорил, Сталин, вероятно, сам надеялся, что это окажется правдой.

Однако всё зашло слишком далеко.

Мы уже видели, что система принудительного труда разрослась настолько, что её невозможно было внезапно повернуть вспять. То же самое произошло и со сталинской системой в целом.

Первая трещина появилась во время великой засухи 1946 года — несчастья, в котором Сталин не был виноват. После того как ему сошло с рук бесчисленное множество преступлений, судьба теперь наказывала его за то, к чему он не имел отношения.

И наказание оказалось вполне реальным.

Сталин с полной уверенностью пообещал отменить карточную систему на хлеб к зиме 1946 года, но это пришлось отложить ещё на год. Такое нарушение обещания произвело крайне неблагоприятное впечатление. Между тем НКВД уже вновь действовал с прежней энергией, подавляя недовольных и сопротивлявшихся.

В польской части Украины фактически шла война между Советской армией и остатками антисоветских украинских вооружённых формирований. Одновременно НКВД воевал с крестьянами, которые сопротивлялись коллективизации точно так же, как их советские собратья сопротивлялись ей двадцатью годами ранее.

Со всех концов Советского Союза поступали сообщения о том, что распад колхозной системы оказался гораздо глубже, чем предполагалось, а кампания господина Андреева не справлялась с положением.

Продовольствие попросту не поступало в города. То немного, что всё же туда попадало, доставлялось незаконными путями — не только через чёрный рынок, но и в результате сложнейших бартерных сделок между отдельными заводами и отдельными колхозами.

В итоге предприятия нарушали государственный план: вместо того чтобы производить товары для центра, они выпускали вещи, необходимые крестьянам, и обменивали их на продовольствие.

Даже без великой засухи положение было бы достаточно тяжёлым. Но засуха привела страну почти к голоду, а вслед за этим — к падению промышленного производства. Так возник порочный круг.

Например, зимой 1947 года в Харькове и других городах произошли организованные хлебные волнения. Во время уличных столкновений погибло множество людей, прежде чем НКВД удалось окончательно подавить беспорядки.

Это и был порочный круг.

Крестьяне не желали производить достаточно продовольствия для городов. Они предпочитали пренебрегать работой в колхозе и трудиться на собственных участках, чтобы затем продавать выращенное на свободном рынке по завышенным ценам.

Города, измученные голодом и усталостью, выпускали всё меньше товаров для деревни, и недовольство сельского населения продолжало расти.

Ко всему этому добавилась искусственно раздуваемая военная тревога, которая произвела прямо противоположный ожидаемому эффект: люди лишь бессильно пожимали плечами, впадая в отчаяние.

Всё это дополняет картину моих впечатлений от 1947 года, о которых я уже писал, — времени накануне того страшного решения Сталина, когда он бросил вызов Западу и тем самым ускорил разложение собственной экономики.

Я убеждён, что он сделал это не потому, что стремился завоевать Запад. Ему и без того хватало забот: он с огромным трудом удерживал под контролем население уже существовавшей зоны своего влияния, и эта задача напрягала его репрессивный аппарат до предела. Скорее он рассчитывал, что ещё одно короткое, судорожное усилие позволит ему выиграть время, после чего он сможет спокойно укрепить Советский Союз и окружающий его защитный пояс.

Если он не мог поднять уровень жизни в России до западного, то мог по крайней мере попытаться снизить уровень жизни на Западе, тем самым ослабив его притягательную силу и одновременно лишив его способности представлять серьёзную военную угрозу.

Но он потерпел неудачу.

Уже через восемнадцать месяцев после начала Европейской программы восстановления производственные возможности Западной Европы были возвращены к довоенному уровню. Между тем своей неумелой внешней политикой, и прежде всего одобрением нападения на Южную Корею, Сталин добился лишь того, что Америка приступила к радикальному расширению своей экономики, основанному на масштабной программе перевооружения.

В результате Кремль не только противопоставил себе всю ту материальную мощь, о которой говорилось в предыдущей главе, но и на долгое время устранил опасность катастрофического экономического кризиса в Соединённых Штатах, на который возлагал свои надежды.

Одновременно, на фоне возрождавшегося благосостояния Западной Европы, страны так называемой народной демократии на Востоке становились всё беднее из-за непрерывного перекачивания их ресурсов в Советский Союз.

Вместо пояса дружественных государств, с энтузиазмом создающих собственные разновидности социализма и связанных со своим великим соседом торговлей, взаимной выгодой и искренним славянским чувством, Кремль получил лишь очаг постоянных беспорядков и будущих катастроф, который с трудом удерживался под контролем угрозой советской силы, усиленной страхом перед возможным возмездием со стороны Германии.

В действительности у Кремля теперь оставалось лишь шесть преимуществ, если не считать размеров Советского Союза, его потенциального богатства и географического положения.

Первое — растерянность народов Запада и их ненависть к войне и несправедливости.

Второе — распространение коммунизма в Азии, тесно связанное с глубоким возмущением угнетённых народов против любого иностранного господства.

Третье — наличие дисциплинированной пятой колонны в каждой стране Запада, которая для собственных участников представляла отделением коммунистической партии, а для посторонних — гуманным революционным движением.

Четвёртое — непосредственная ударная мощь Советской армии.

Пятое — невежество и выносливость русского народа.

Шестое — полное отсутствие нравственных ограничений у самого Кремля.

Растерянность народов Запада — это то, что должно находиться под нашим собственным контролем. Сейчас она действительно существует и энергично используется Кремлём, прежде всего посредством лживой кампании за мир. Однако нет никаких причин, по которым такое положение должно сохраняться, и положить ему конец вполне в наших силах.

Распространение коммунизма в Азии, конечно, не находится под нашим контролем, хотя мы способны многое сделать, чтобы его сдержать. Но и Кремль контролирует этот процесс едва ли больше, чем мы.

Кремль не разжёт этот лесной пожар, хотя и подливает масло в огонь. И уж тем более он не может рассчитывать на то, что сумеет управлять его конечным направлением.

Принято считать, что революция в Китае доставляет Кремлю большое удовлетворение. Но судьба этой революции будет зависеть от того, сумеет ли Мао Цзэдун стабилизировать охваченную хаосом страну и превратить её в единую и действенную силу.

Однако для России сама мысль о сильном и объединённом Китае, расположенном вдоль её самой длинной и уязвимой сухопутной границы, должна и сегодня, как и на протяжении последних ста лет, быть настоящим кошмаром.

Пока китайским коммунистам выгодно заявлять о верности Советскому Союзу и перенимать сталинские методы, пытаясь создать из хаоса дисциплинированную силу и единство. Но Кремль должен прекрасно понимать, что такая верность в лучшем случае может быть лишь временной и тактической.

Китайцы относятся к русским не лучше, чем к другим европейцам. Именно мы, а не китайцы, совершаем ошибку, считая русских наполовину восточным народом.

К Сталину и его правительству, которые перед лицом японской угрозы на протяжении многих лет сознательно приносили китайских коммунистов в жертву Чан Кайши, китайские коммунисты не испытывают ни преданности, ни благодарности. Они обязаны им лишь ненавистью и презрением. Можно с уверенностью сказать, что рано или поздно Сталину придётся либо попытаться расколоть Китайскую коммунистическую партию, желательно изнутри, либо с тревогой наблюдать, как новый Китай развивается по собственному пути.

Это, конечно, не меняет того факта, что ещё долгое время привлекательность коммунистического движения, олицетворяемого Сталиным, Мао Цзэдуном или ими обоими, будет наносить огромный ущерб американским, британским, голландским и французским интересам в Азии.

Но всё это имеет самое непосредственное отношение к вопросу об империалистических притязаниях Советского Союза.

Китай входит в сферу советского влияния не больше, чем Великобритания и Америка входили в неё во время Второй мировой войны. Советский Союз и Китай — союзники по необходимости.

И у Сталина не возникло бы никаких угрызений совести, если бы он решил натравить коммунистическую Японию на коммунистический Китай, рассчитывая извлечь выгоду из их взаимного истощения. Мао Цзэдун, несомненно, понимает это не хуже нас.

В настоящий момент, однако, он больше опасается Японии, находящейся под влиянием Америки.

Наличие дисциплинированной пятой колонны во всех некоммунистических странах является серьёзным преимуществом Кремля, но лишь отчасти находится под его контролем. Её эффективность зависит от обстоятельств, которыми управляем мы сами. Само же её существование зависит от способности Кремля и дальше обманывать её участников.

Уже появляются признаки внутреннего разложения. Некоторые влиятельные члены, хотя и с опозданием, начинают понимать, какая судьба ожидает их самих и их убеждения, если им когда-либо удастся осуществить революцию в собственных странах. Они с печалью набираются мужества и выходят из партии.

Их судьба, разумеется, была бы такой же, как судьба Райка в Венгрии, Костова в Болгарии, Клементиса в Чехословакии, Гомулки в Польше и множества менее известных деятелей в странах-сателлитах, которые не захотели мириться с превращением своей партии и своей страны в безвольное орудие русского империализма.

Оставшиеся три преимущества — непосредственная ударная мощь Советской армии, невежество и выносливость русского народа и беспринципность советского правительства — единственные, которые хотя бы с некоторой натяжкой можно считать полностью подконтрольными Кремлю. Но даже здесь первые два преимущества относительны; абсолютным является лишь третье.

Мощь Советской армии относительна, потому что во многом объясняется нашей нынешней слабостью. Выносливость русского народа относительна, потому что она не безгранична. Беспринципность Политбюро абсолютна, но без достаточных средств для осуществления своей воли — без необходимых умов и силы — она бессильна.

Если кто-либо, дочитав до этого места, всё ещё находится под впечатлением от силы и тонкости сталинского ума, якобы проявившихся в советской дипломатии, мне остаётся лишь выразить сожаление. Теперь мы переходим к рассмотрению военной силы.

Материальную основу войны мы уже рассматривали. Остаётся оценить собственно мощь вооружённых сил и моральное состояние народа, стоящего за армией.

На бумаге Советская армия выглядит подавляюще сильной. Никто не знает её подлинной численности, но обычно считается, что в ней служит немногим менее трёх миллионов человек. Чаше

всего называется цифра 2 800 000 — по-видимому, специально для того, чтобы вызвать у нас дрожь. Считается также, что она располагает 175 дивизиями.

Лично я не верю, что Кремль в настоящее время действительно имеет 175 полностью укомплектованных дивизий военного состава. Я не верю в это потому, что в стране попросту не хватает старших унтер-офицеров и штабных офицеров среднего звена — майоров и полковников, — чтобы одновременно укомплектовать все эти дивизии и обучать огромную массу призывников, проходящих краткосрочную службу, среди которых очень много едва грамотных молодых крестьян. Потребность в квалифицированных людях такого рода намного превышает их количество. Промышленность отчаянно требует таких работников, но не получает их.

Во время обсуждения государственного бюджета на 1950 год в Верховном Совете один министр за другим, подвергаясь критике за невыполнение производственных заданий, обвинял Министерство высшего образования и Министерство трудовых резервов в том, что они по-прежнему не могут подготовить достаточное количество квалифицированных руководителей низшего звена и технических специалистов.

Но дело было не в несчастных чиновниках, превращённых в козлов отпущения. Не существовало самого человеческого материала, из которого можно было бы подготовить необходимое количество специалистов.

В одной из предыдущих глав, рассказывая о своих впечатлениях от России 1947 года, я упоминал, что большинство служащих и работников умственного труда одновременно занимали две или три должности и трудились до восемнадцати часов в сутки. Только так они могли заработать достаточно рублей, чтобы дополнить свои пайки покупками в свободных «коммерческих магазинах».

Они могли работать сразу в нескольких местах лишь потому, что спрос на их знания и квалификацию был чрезвычайно велик.

Во время войны мой советский коллега, штабной офицер среднего звена в советском военном ведомстве, был вынужден совмещать три совершенно разные должности. Он служил штабным офицером первого класса в Генеральном штабе и каждую неделю проводил три или четыре дня в действующей армии, контролируя работу аналогичных отделов в штабах фронта и армии.

То же самое происходило в каждом министерстве.

В Советском Союзе существовала лишь одна организация, которая не испытывала отчаянной нехватки квалифицированных и ответственных руководителей. Это были объединённые структуры МВД и МГБ, в которых, как полагали, служило свыше миллиона человек.

Хотя эти силы были вооружены и оснащены так, что могли составить целую постоянную армию, для ведения боевых действий их не использовали.

Во время войны в Советском Союзе насчитывалось около шестисот тысяч военнослужащих НКВД, но даже в самые критические моменты их ни разу не направили сражаться против немцев.

Их задача была внутри страны.

Но даже если принять официальную западную оценку в 175 дивизий, следует спросить: что это в действительности за сила?

Прежде всего необходимо помнить, что советская дивизия сравнительно невелика. В ней насчитывается около десяти тысяч человек, то есть примерно вдвое меньше, чем в обычной британской дивизии. Следовательно, 175 советских дивизий приблизительно соответствуют девяноста британским или американским дивизиям.

Это всё ещё очень много. Но действительно ли такая сила, если взглянуть на неё глазами Кремля, настолько чрезмерна, как кажется нам на Западе?

Перед войной 1914 года регулярная русская армия насчитывала более миллиона человек. В то время численность германской армии составляла около пятисот тысяч человек, а французской — около шестисот тысяч.

С тех пор население территории, занимаемой Советским Союзом, почти удвоилось. Поэтому при прочих равных условиях следовало бы ожидать соответствующего увеличения армии.

Но прочие условия, разумеется, не равны. Мы на Западе пытались обходиться без крупных армий, тогда как русские продолжали держаться за свою.

Во всяком случае, очевидно, что армия численностью 2 800 000 человек, включая призывников с коротким сроком службы, не является результатом внезапной и масштабной кампании перевооружения.

Её огромные размеры связаны с огромными размерами самого Советского Союза, который занимает шестую часть всей суши земного шара и имеет необычайно протяжённые и крайне уязвимые сухопутные границы.

Эти границы, особенно границу с Китаем, невозможно укрепить по всей их длине. Поэтому вдоль всего гигантского периметра необходимо размещать отдельные крупные группировки войск.

О размерах этой проблемы с точки зрения советского Генерального штаба ясно свидетельствует существующее разделение Советских вооружённых сил на самостоятельные армии, каждая из которых по возможности получает снабжение из промышленных районов, расположенных непосредственно у неё в тылу.

Таких командований шесть: Северная армия с центром в Ленинграде; Западная — с центром в Минске; Южная — с центром в Одессе; Кавказская — с центром в Тифлисе; Туркестанская — с центрами в Ташкенте и Фрунзе; Дальневосточная — с центрами в Чите и Владивостоке.

Те самые предполагаемые 175 дивизий, приблизительно соответствующие девяноста нашим, необходимо распределить между этими далеко отстоящими друг от друга командованиями, оставив при этом значительные силы для Германии и Австрии.

Мы очень легко рассуждаем о преимуществах внутренних коммуникационных линий. И действительно, во время последней войны Гитлер, находившийся в Берлине, сумел в полной мере воспользоваться этими преимуществами.

Но внутренние линии сообщения в Советском Союзе — совсем другое дело.

При таких огромных расстояниях, при всё ещё недостаточно развитой железнодорожной сети и почти полном отсутствии хороших автомобильных дорог переброска даже двух дивизий с одного фронта на другой представляет собой далеко не простую задачу.

На карте очертания Советского Союза кажутся нам огромным пространством скрытой угрозы, из которого ударные колонны могут появиться в любой точке. Но для Москвы те же самые очертания представляют собой тонкую красную линию, которую невозможно надёжно защитить и которая может быть прорвана где угодно.

Что касается качества и боеспособности советских дивизий, то они весьма неоднородны.

Подлинная сила Советской армии как наступательной силы заключается не столько в пехоте, как, по-видимому, полагают многие, сколько в танках и артиллерии, включая специальные реактивные установки типа «катюши».

В Советской армии имеется большое количество средних танков Т-34, использовавшихся ещё во время последней войны; некоторые из них теперь оснащены новыми орудиями большего калибра. Кроме того, имеется некоторое число тяжёлых танков «Иосиф Сталин», которые внушают ужас западным военным обозревателям.

Однако при прорыве они не столь полезны, поскольку могут нести лишь весьма ограниченный боезапас для своих 122-миллиметровых орудий. А советская система снабжения устроена так, что всё, чего танк не везёт с собой, он, скорее всего, не получит именно тогда, когда это понадобится больше всего.

Танки «Иосиф Сталин» превосходны в обороне или при медленном, неуклонном продвижении. Но нас призывают оценивать Советскую армию не в обороне, а как силу, способную стремительно пронестись через Европу.

Существует лишь один способ вести быстрое наступление: использовать подвижные войска, действия которых безупречно согласованы между собой.

Поэтому, если именно такого нападения мы ожидаем, из решающей фазы боевых действий следует заранее исключить не менее двух третей нынешней Советской армии. В результате её численность приобретает уже гораздо менее устрашающий вид.

Основная масса советской пехоты совершенно неспособна участвовать в молниеносной войне. Даже в тех пехотных дивизиях, которые считаются механизированными, автотранспорт, как правило, не закрепляется постоянно и в установленном количестве за полками и батальонами, как это принято в западных армиях. Машины сосредоточены в общем дивизионном парке, имеющем собственную роту водителей.

Это объясняется не только нехваткой автомобилей, о которой уже говорилось в одной из предыдущих глав, но и тем, что в обычном советском пехотном батальоне очень мало людей, способных хотя бы элементарно ухаживать за техникой и обслуживать её.

Во всём остальном пехота по-прежнему в значительной мере полагается на гужевой транспорт.

Движущиеся колонны растягиваются по всей местности; в них тянутся маленькие деревянные телеги, похожие на огромные свиные корыта, поставленные на тонкие колёса. Если не считать вооружения солдат, внешне эти колонны почти ничем не отличаются от войск времён Наполеоновских войн, да и по своему существу изменились немногим больше.

Говоря об автотранспорте, следует добавить, что поставки грузовиков и других автомобилей из Америки были важнейшей частью военной помощи, которую западные союзники оказывали России. Во время окружения немецких войск под Сталинградом эти поставки, возможно, сыграли решающую роль.

Более того, ещё в 1947 году среди всех военных машин, которые продолжали ездить по советским дорогам, я лично не видел ни одного грузовика — если не считать нескольких полуразвалившихся довоенных фургонов, — который не был бы американским, британским или трофейным немецким. Теперь запасные части к этим машинам, должно быть, подходят к концу.

При продолжительном, тяжёлом и медленном наступлении лучшие части советской пехоты, несомненно, представляют собой великолепный человеческий материал. Вместе с сапёрами, которые способны наводить мосты через огромные реки из деревьев, срубленных прямо на месте, они проявляют исключительное умение создавать необходимое буквально из ничего.

Они могут кормиться за счёт местности и, если еды нет, обходиться без неё по нескольку дней. Их не обременяет чрезмерно разросшийся административный тыл, характерный для современных механизированных армий Запада.

На офицеров ниже майора не ведётся подробной документации, что избавляет армию от огромного количества бумажной работы.

Когда снабжение направляется к фронту, оно поступает не в ответ на сложные заявки отдельных частей и соединений. Тыловые службы просто отправляют всё, что у них имеется, в общем

направлении фронта. По дороге колонны перехватываются, разбиваются на части, а отдельные машины направляются туда, где снабжение, по-видимому, требуется особенно срочно.

Когда русский солдат уходит на войну, он просто уходит — и для семьи на этом как будто перестаёт существовать. Лишь изредка от него приходит письмо; иногда он неожиданно появляется в отпуске; а порой кто-нибудь из товарищей возвращается и сообщает, что он пропал без вести или погиб.

Всё это создаёт значительные преимущества в долгой, изнурительной кампании.

Но, как я уже говорил, нам предлагают представить совсем иное — внезапное, стремительное и сокрушительное наступление.

Между тем те самые качества, которые делают основную массу Советской армии столь грозной в затяжной борьбе, проистекают из примитивности среднего русского пехотинца, который остаётся прежде всего крестьянином. А это как раз последнее, что требуется в современной высокоманёвренной войне.

Фактически это означает, что в наступлении Советская армия может быть использована одним из двух способов.

Либо она двинется вперёд как медленно ползущая орда, рассчитывая сначала запугать противника, а затем сокрушить его одной лишь массой.

Либо её бронетанковые ударные группы будут брошены в быстрые охватывающие операции, но в значительной мере без поддержки основных сил.

В первом случае эта орда может быть разгромлена численно гораздо меньшими механизированными войсками, если ими будут командовать хладнокровно, смело и решительно.

Во втором случае Советская армия в решающие моменты боя лишится своего главного преимущества — огромной численности.

Таким образом, при обоих вариантах предполагаемое превосходство русских над противостоящими им силами оказывается обманчивым.

В связи с этим стоит особо подчеркнуть, что во время последней войны советские генералы неохотно начинали наступление, пока не имели уверенности в местном превосходстве в соотношении шесть к одному.

Даже бронетанковый ударный клин, в котором сосредоточена великолепная элита новой Советской армии и который оснащён танками, не уступающими лучшим образцам в мире и значительно превосходившими всё, чем западные союзники располагали почти до самого конца войны, на деле не так совершенен, как может показаться.

Особенно ему недостаёт надёжной связи.

Советская армия ещё даже не начала догонять Запад в развитии коротковолновой полевой радиосвязи. Этот недостаток определяет весь её подход к ведению войны.

Он означает, что танки и самоходные орудия оказываются в заметно худшем положении в быстро меняющемся бою.

Отсутствие радиосвязи между отдельными танками приводит к тому, что командиры подразделений не могут быстро приспосабливать свои планы к изменившейся обстановке и вынуждены возвращаться к старому кавалерийскому принципу: следовать за командиром.

Но танки проходят гораздо большие расстояния, чем кавалерия. Поэтому ведущий танк может оказаться ещё хуже связан со своим вышестоящим командованием, чем с экипажами машин собственного подразделения.

Проблема связи доставляет советскому Верховному командованию чрезвычайно много хлопот.

Дело не только в том, чтобы произвести подходящее оборудование, хотя и это само по себе трудно. Не менее сложно найти достаточное количество людей, способных пользоваться этим оборудованием и поддерживать его в рабочем состоянии, даже если оно уже имеется.

Это всё та же старая проблема: как научить вести современную войну с применением сложной и чувствительной техники народ, который всего тридцать лет назад на четыре пятых состоял из крестьян, в большинстве своём неграмотных, и в котором наиболее предприимчивых и одарённых людей безжалостно подавляли, если не уничтожали физически.

Те специалисты, которых всё же удалось подготовить, действительно очень хороши. Именно они управляют танками и орудиями, обслуживают тактическую авиацию и секретные виды вооружения. Но их всё ещё недостаточно.

Их, например, недостаточно для того, чтобы одновременно выполнять все эти задачи и обеспечивать наземными специалистами и лётными экипажами действительно мощную дальнюю бомбардировочную авиацию.

Разрыв между ними и обычным призывником по-прежнему огромен.

Выносливость и неприхотливость рядовых солдат следует рассматривать как обратную сторону недостатка у них быстроты мышления и технических навыков.

Всё это вовсе не означает, что постоянная Советская армия не является чрезвычайно грозной силой. Разумеется, она грозна. И, как я уже говорил, именно она остаётся самым могущественным преимуществом Кремля.

Чтобы противостоять ей, нам потребуются вся наша сила и вся наша решимость. Меньше всего я хотел бы преуменьшать масштаб стоящей перед нами задачи.

Однако, если действовать правильно, эта задача вовсе не является невыполнимой, хотя сегодня многие стараются убедить нас в обратном.

Она не стала бы невыполнимой даже в том случае, если бы массы, стоящие за постоянной армией, и миллионы призывников, которых мобилизовали бы с началом войны, были всей душой преданы ей и Сталин мог бы полностью на них положиться.

Но в действительности это не так.

Я назвал эту главу «Быстрее, быстрее!», потому что именно таков нынешний ритм жизни Советского Союза.

Развязав холодную войну, Сталин тем самым открыл войну на двух фронтах — внешнем и внутреннем. Он должен был принуждать народ России к новым и ещё более тяжёлым жертвам, ожидая экономического краха Западной Европы, после которого, как он рассчитывал, давление можно будет ослабить.

Иными словами, он одновременно преследовал две противоположные цели.

Следуя древней московской традиции, он замыкал Россию в самой себе, отгораживая её от всякого соприкосновения с Западом. Но одновременно, подчиняясь более новой, петровской традиции, пытался навязать Западу свою волю.

Эта задача была невыполнима.

Самоизоляция Советского Союза от остального мира означает нечто гораздо более глубокое и радикальное, чем простое закрытие государственных границ.

Посредством чрезвычайно сложной хирургической операции Сталин пытался отделить сознание советских народов от живого сознания всего человечества. Он безжалостно рассекал бесконечно сложную сеть нервов, связей и кровеносных сосудов, посредством которых передаются, усваиваются и применяются общий опыт и общее понимание нашей цивилизации.

Он вырезал целую область из совокупного мозга человечества и пытался превратить её в особый советский мозг.

Само по себе это не было чем-то совершенно новым. Русские правители уже пытались проделывать подобное в прошлом и, возможно, попытаются вновь. Однако никогда прежде в истории они не стремились сочетать такую изоляцию с экспансией в тот самый мир, от которого столь страстно старались отгородиться.

Как я уже говорил, лично я не верю, что Сталин когда-либо сознательно и преднамеренно собирался глубоко вторгаться на Запад.

Скорее я полагаю, что методы, которыми он пытался осуществить задуманную им простую политику самоизоляции, из-за его жестокости и глупости, а также из-за нашей реакции на них, загнали его в невыносимое положение, которое не могло сохраняться долго.

Как бы то ни было, холодная война означала для Сталина войну на двух фронтах: войну против собственного народа и войну против всех остальных.

И успех войны против собственного народа зависел от успеха войны против внешнего мира.

Но, как мы уже видели, эта политика потерпела неудачу.

Вместо распадающейся Западной Европы Сталин столкнулся с первыми признаками пробуждения самой могущественной силы в истории человечества.

А это означало, что ни о каком смягчении режима внутри страны не могло быть и речи.

На протяжении последних трёх лет репрессивный аппарат Кремля был направлен прежде всего против крестьян, которые всё ещё составляли половину населения Советского Союза.

Мы уже вкратце рассмотрели продовольственное положение, сделавшее это необходимым.

Промышленность после революции развивалась сравнительно успешно. Лучшие умы Советского Союза были поставлены на службу индустриальной революции, которую им удалось превратить в революцию управленческую.

Сельское хозяйство добилось гораздо меньших успехов. Главные усилия и наиболее заметные достижения здесь относились к развитию так называемых технических культур, прежде всего хлопка.

Но промышленность не могла и дальше развиваться успешно, если рабочие оставались голодными.

Причём теперь их уже необходимо было кормить лучше, чем прежде.

Промышленность создала новый тип русского человека, занятого новым видом труда. Для поддержания полной работоспособности ему уже было недостаточно примитивного рациона из хлеба и каши, на котором русский крестьянин или русский пехотинец мог медленно пройти весь жизненный путь от колыбели до могилы.

Крестьяне не производили необходимого количества продовольствия.

Поэтому с началом Европейской программы восстановления Сталин был вынужден развернуть в деревне новую революцию, не менее радикальную, чем коллективизация двадцатилетней давности.

Цель этой революции заключалась в том, чтобы ещё быстрее и полнее подчинить советское сельское хозяйство непосредственному контролю центральной власти.

Промышленных рабочих также приходилось принуждать к труду, но до известной степени это было сравнительно простой задачей.

Принуждение осуществлялось через так называемые профсоюзы, которые не имели ничего общего с профсоюзами Запада. В действительности это были обычные государственные учреждения, задачей которых было получить от рабочих как можно больше, дав им взамен как можно меньше.

Именно они заключали коллективные соглашения о заработной плате, жилищных условиях и нормах выработки.

За фабричными рабочими было легко наблюдать и держать их под контролем. Нерадивого, непокорного или недостаточно производительного работника сразу замечали и подвергали наказанию.

Соглашения, заключённые с профсоюзами, подкреплялись целой системой санкций, включая фактическое закрепление рабочей силы за предприятиями, хотя официально такое определение не употреблялось.

Человек, менявший место работы, лишался части социальных льгот, в том числе части будущей пенсии.

Опоздания и невыходы на работу наказывались принудительным трудом в его наиболее мягкой форме.

Определение прогула содержалось в указе Президиума Верховного Совета СССР от июня 1940 года: «Советский рабочий считается виновным в прогуле, если теряет более двадцати минут рабочего времени вследствие опоздания, преждевременного ухода с работы или продления обеденного перерыва; либо если совершает любое из этих нарушений три раза в течение одного месяца или четыре раза в течение двух последовательных месяцев, даже если в каждом отдельном случае потеря времени составляет менее двадцати минут».

Наказание за такое нарушение могло составлять до шести месяцев «исправительных работ без лишения свободы».

Это означало, что рабочий продолжал трудиться на прежнем предприятии, но его могли обязать выполнять любую назначенную ему работу и удерживать до двадцати пяти процентов заработной платы.

Если нарушение повторялось или рабочий совершал более серьёзные проступки против трудовой дисциплины, его приговаривали к одной из более тяжёлых форм принудительного труда.

Согласно Исправительно-трудовому кодексу РСФСР, эти наказания по степени тяжести простирались от сравнительно мягких исправительных работ в ссылке — причём существовало несколько видов ссылки — до «исправительных работ в местах заключения», включая «исправительно-трудовые колонии», и далее до «карательно-трудовых колоний».

Два последних термина были официальными обозначениями тех самых лагерей принудительного труда, о которых говорилось в одной из предыдущих глав.

Именно такие наказания, помимо прочего, делали забастовку для советского рабочего практически невозможной.

Крестьяне также подчинялись этой дисциплине. Однако из-за самого характера сельского труда и невозможности организовать сельскохозяйственное производство по строго казарменному образцу никакой террор МВД не мог заставить вырасти два колоса там, где прежде рос один.

Предполагалось, что эту проблему решат колхозы с их партийным управлением, а машинно-тракторные станции обеспечат сдачу государству требуемого количества зерна.

Но рано или поздно человеческая природа берёт своё. Сначала руководители колхозов, а затем и технические работники машинно-тракторных станций начали отождествлять свои интересы с интересами сельских жителей, противопоставляя их государству.

Система, по которой каждой семье разрешалось иметь в личной собственности небольшой участок земли и корову, первоначально была введена для того, чтобы поддерживать у крестьян желание трудиться. Однако вскоре она стала угрожать всему устройству колхозной системы.

Ещё до войны пренебрежение работой на колхозных землях ради труда на личных участках достигло таких масштабов, что средний крестьянин получал со своего небольшого хозяйства вдвое больше, чем за обязательную работу в колхозе.

Во время войны система окончательно вышла из-под контроля. Почти всё продовольствие, поступавшее в города сверх голодного пайка, крестьяне привозили со своих личных участков и продавали на свободном рынке по непомерно высоким ценам.

После войны выяснилось, что тысячи колхозов по всей России были фактически частично разобраны крестьянами, причём при деятельном содействии руководителей хозяйств: колхозные земли присоединялись к личным участкам сельских жителей.

Правительство развернуло широкомасштабную кампанию против этих злоупотреблений, но оказалось не в состоянии увеличить поступление зерна в государственные хранилища.

Тогда последовала целая серия мер.

Сначала была проведена денежная реформа с обесцениванием рубля, главной целью которой было примерно на девяносто процентов сократить денежные накопления крестьян.

Затем ввели сельскохозяйственный налог, распространявшийся только на доходы от личных хозяйств и по существу носивший карательный характер.

После этого были развёрнуты масштабные программы по увеличению поголовья и улучшению качества советского скота. Они предусматривали превращение хороших пахотных земель во временные пастбища ради того, чтобы в будущем обеспечить города большим количеством мяса и молока.

Русские крестьяне ожесточённо сопротивлялись этой политике: они предпочитали хлеб в нынешнем году говядине через пять лет.

Наконец, в 1950 году Хрущёв выдвинул план укрупнения колхозов и строительства особых «агрогородов».

Именно эта последняя мера означала новую революцию, поскольку предполагала полное разрушение старого деревенского уклада, ликвидацию личных хозяйств и превращение сельских жителей, которые на протяжении всех потрясений последних тридцати лет упорно держались за свои прежние обычаи, в наёмных работников — или государственных крепостных.

Они должны были трудиться бригадами под надзором благонадёжных руководителей и жить вместе в новых поселениях, где никто не знает соседей и где каждый находится под непосредственным наблюдением партии и полиции.

Официально эта революция объяснялась двумя причинами.

С одной стороны, предполагалось превратить небольшие колхозы в крупные хозяйства, способные применять самую современную сельскохозяйственную технику.

С другой — переселить крестьян из разбросанных и антисанитарных деревень в новые города, снабжённые всеми социальными и культурными удобствами.

Что касается небольших колхозов — а некоторые из них действительно были очень малы, — довод о необходимости использования техники мог показаться разумным.

Но когда четыре уже существовавших колхоза площадью по семь тысяч акров каждый объединялись в одно гигантское хозяйство площадью двадцать восемь тысяч акров, располагающее всего семью комбайнами и десятью тракторами против двухсот семидесяти семи рабочих лошадей, вся несостоятельность этого довода становилась очевидной.

Что же касается обещанных удобств агрогородов, то русский крестьянин скорее согласился бы жить в землянке среди своих людей и в своей родной деревне, чем вести казарменную жизнь среди

чужаков, лишившись земли, за которую он держался и которую обрабатывал на протяжении всей коллективизации, — какими бы прекрасными ни были новые удобства.

На практике всё это означало начало нового и смертельно опасного этапа войны между Кремлём и крестьянством.

Кремль шёл на риск, рассчитывая силой провести эти преобразования, временно пожертвовав частью сельскохозяйственного производства ради значительно более высоких урожаев через несколько лет — после того как сопротивление будет сломлено, а новая система полностью взята под контроль.

Никто не мог сказать, оправдается ли этот расчёт.

Никто не мог сказать и того, увенчается ли успехом другой, столь же крупный риск, связанный с грандиозными программами капитального строительства, прежде всего с сооружением гидроэлектростанций.

Если эти программы окажутся успешными, то через пять-десять лет Кремль сможет настолько укрепить и расширить основу советской экономики, что раз и навсегда решит проблему снабжения продовольствием огромного населения страны и направит часть ресурсов и рабочей силы, которые теперь поглощаются тяжёлой промышленностью и капитальным строительством, на производство потребительских товаров.

Но успех будет достигнут лишь с огромным трудом.

Если же замысел провалится, если при новом режиме принуждения крестьяне не станут производить больше, а производительность недоедающих фабричных рабочих начнёт падать, тогда режим рухнет — не в результате революции снизу, а вследствие хаоса, который последует за распадом советской экономики и неизбежными раздорами в верхах по поводу того, что следует предпринять.

Однако нам нет необходимости гадать о будущем.

Нас интересует настоящее.

Я пытался показать, что Сталин утратил ту власть над русским народом, которой обладал в течение года или двух после войны, и вновь оказался примерно в том же положении, что и в 1941 году, когда больше всего на свете боялся войны.

Он утратил эту власть потому, что снова — и в значительной степени вследствие своей агрессивной внешней политики, настроившей против него половину мира, — был вынужден слишком долго и слишком жестоко погонять свой и без того многострадальный народ.

И этот процесс ускорял сам себя.

Без значительного ослабления международной напряжённости Сталин не мог позволить себе остановиться.

Но чем сильнее он давил на народ, тем менее надёжным становилось его настроение в случае войны.

Я подробно остановился на проблемах, которые возникли у Сталина с крестьянами и рабочими. Те же самые трудности преследовали его и до нападения Гитлера, и после него.

Но теперь перед ним встала ещё одна, совершенно новая проблема — разложение Коммунистической партии.

Как мы уже видели, когда-то Коммунистическая партия представляла собой преданную делу группу фанатиков, настоящий авангард пролетарской революции. Несмотря на периодические чистки, она неуклонно росла, причём в её составе постепенно усиливалось влияние формировавшегося управленческого слоя.

По мере развития этого процесса реальная власть, как мы уже отмечали, всё больше сосредоточивалась во внутренних кругах партии — в Центральном комитете и его постоянно действующих органах.

Однако сама партия по-прежнему была искренне предана делу построения коммунистического Советского Союза — вплоть до великой чистки середины тридцатых годов, которая уничтожила значительно больше десятой части её состава и в значительной мере изменила сам характер партии. Воинствующие коммунисты, имевшие собственные взгляды, были устранены — так же, как позднее их устранили в коммунистических партиях Восточной Европы. На их место пришли приспособленцы либо молодые мужчины и женщины, заинтересованные прежде всего в личном служении Сталину как своему вождю.

Во время войны лучшие представители молодого поколения — а партия тогда состояла преимущественно из молодых людей — погибли. Однако их численность была с избытком восполнена самым простым способом: двери партии широко открыли для всех одарённых и деятельных советских патриотов, которые чем-либо отличились на государственной службе.

В результате к 1945 году небольшая ударная группа ленинских фанатиков полностью превратилась в организованную семимиллионную фалангу лучших сил Советского Союза. Значительная часть этих людей лишь на словах выражала преданность Ленину и официальной идеологии.

После войны новую партию подвергли умеренной чистке и сократили примерно до шести миллионов человек. Именно они занимали ключевые посты по всей стране.

Однако идеологическое размывание оказалось слишком значительным, чтобы партия могла и дальше исполнять свою традиционную роль: быть стражем идейной правоверности страны, бичом для равнодушных и разочарованных, источником вдохновения и дисциплины для восторженной молодёжи.

Когда пришло время активно возрождать ленинизм, обнаружилось, что партия неспособна выполнить свою задачу. Она слишком мало знала о самом ленинизме и прежде, чем воспитывать народ, должна была сначала обучиться сама.

Год за годом после войны советская печать со всё нарастающей настойчивостью упрекала партию за недостаток идеологической сознательности.

Но положение было ещё хуже.

Постоянно меняющаяся партийная линия; крайности кампании, призванной убедить туповатые массы в том, что советский человек является человеком нового типа и всё, к чему он прикасается, превращает в золото; глупость кремлёвских пропагандистов и лъстивых публицистов; унижительные метания советской интеллигенции, пытавшейся угнаться за очередным изменением курса; бесконечная нехватка всего, что делает жизнь достойной; очевидная ложь статистиков; неизменная суровость полицейского режима — всё это вместе привело новую партию к глубокому разочарованию.

Люди, по природе своей порядочные, становились циниками. Они слишком ясно видели пропасть между простым народом, с которым обращались как с грязью, и собой.

Те же, кто от природы был продажен, развращались окончательно.

Отчуждение между партией и правительством стало настолько глубоким, что во время местных партийных конференций 1949 года более половины областных секретарей по тем или иным причинам лишились своих должностей.

Превратив партию из острого орудия единомышленников-фанатиков в таран для осуществления собственной воли, Сталин убил в ней революционный дух.

Иными словами, создавая новое индустриальное государство, он создал в России нечто прежде почти неслыханное — новый и влиятельный средний класс.

Это образованный слой мужчин и женщин, чьи силы теперь распределялись между несколькими целями.

Большая часть их энергии уходила на то, чтобы любой ценой удержаться за новые привилегии, постоянно опасаясь вновь провалиться в бездонную нищету рабочего класса, из которого они вышли.

Меньшая часть сил отдавалась работе на благо страны — из одной лишь гордости за то, что она способна действовать и развиваться.

И наконец, небольшая, но постоянно растущая часть этого слоя начинала вырабатывать критическое мышление — характерную черту всех новых средних классов.

Коммунистическая партия, за исключением её высших уровней, теперь практически слилась с этим классом.

О глубине пропасти между современной Коммунистической партией и её собственным Центральным комитетом свидетельствует хотя бы тот факт, что последний партийный съезд — восемнадцатый — состоялся в 1939 году, то есть двенадцать лет назад, тогда как прежде съезды проводились каждые два-три года.

Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что теперь пропасть между партией и Кремлём стала глубже, чем между партией и народом.

И она продолжала расширяться.

Центральный комитет всё чаще и настойчивее жаловался также на то, что дети вступали в Коммунистический союз молодёжи — комсомол — уже не в достаточном количестве, а слишком многие из тех, кто всё же вступал, воспринимали членство лишь как разновидность общественной привилегии.

На протяжении тридцати лет сначала Ленин, а затем Сталин управляли Советским Союзом посредством партии, опираясь при этом на всю мощь полиции.

Если партия становилась ненадёжным орудием, оставалась только полиция.

Трудно сказать, сколько ещё способен вынести русский народ, прежде чем наступит полный надлом. Несомненно, русские могут вынести больше, чем национальные меньшинства Советского Союза.

Эти меньшинства теперь настолько тревожили Кремль, что политика их радикального смешения проводилась всё более быстрыми темпами. Коренное население различных республик — от Украины до Казахстана — перемещали и перемешивали между собой с целью уничтожить любые очаги национального самосознания.

Очень легко судить о русских по собственным меркам, и рассказы беженцев из Советского Союза лишь укрепляют нас в этой ошибке.

К настоящему времени должно быть ясно, что русский человек без особых раздумий принимает такие ограничения свободы, с которыми мы не стали бы мириться. Он способен жить и даже сохранять жизненные силы в условиях лишений, совершенно невыносимых для нас.

Верно и то, что после стольких лет предельно тяжёлой жизни он способен смириться с худшими бедствиями, чем те, с которыми готов был мириться в 1917 году.

Когда мы размышляем об ужасающих условиях трудовых лагерей, следует помнить и об ужасающих условиях обычной русской деревни.

Считается, что каждая деревня полностью выгорает примерно раз в пять—семь лет, и такой пожар служит своего рода генеральной уборкой.

Смрад, грязь и духота во множестве русских домов, наглухо закупоренных от смертельного зимнего холода, таковы, что мы не смогли бы выдержать там и десяти минут, не почувствовав дурноты.

Иногда зимой эти условия становятся невыносимыми даже для русского крестьянина. Тогда он распахивает двери и окна и на два-три дня переселяется в дом соседа, пока мороз не уничтожит паразитов.

Если же приютить его некому, он вместе с женой просто уходит в лес и остаётся там на двое или трое суток, пока холод не завершит свою очистительную работу.

Именно из такой среды — непосредственно или всего одно поколение назад — происходят русские заключённые трудовых лагерей. Поэтому условия лагерей легче убивают поляков, прибалтов и немцев, чем русских.

Это также фон, на котором разворачивается борьба Кремля — борьба вполне реальная — за то, чтобы цивилизовать и дисциплинировать русские массы.

Но в силу обстоятельств, рассмотренных в предыдущих главах, и потому, что всё делалось слишком быстро, эта борьба привела к результатам, противоположным задуманным.

Она создала новый средний класс, который однажды сменит большевиков. Но одновременно она унизила и опустила народные массы так глубоко, как их не унижали никогда прежде.

Поэтому, по удивительной иронии истории, роль Ленина и Сталина начинает напоминать роль английских капиталистов, которые создавали богатство посредством обнищания народа, а их преемники затем использовали это богатство, чтобы вывести людей из нищеты.

Иными словами, пролетарская революция в России — революция Ленина — имеет одно бесспорное достижение: она создала пролетариат там, где его прежде не существовало, причём самый несчастный пролетариат в мировой истории.

Это падение вполне реально, и одновременно оно служит самой надёжной защитой Кремля.

Во время войны мне не раз приходилось видеть, как мужчины и женщины, обессиленные голодом, падали в снег и оставались лежать там.

Их оставляли лежать люди, которые в глубине души были, возможно, самыми добрыми людьми на свете. Но ни у кого не оставалось сил даже проверить, живы упавшие или мертвы. А если они ещё были живы, всё равно не было ни места, куда их можно было бы отнести, ни пищи, которой их можно было бы накормить.

Подобное, разумеется, можно ожидать во времена абсолютной катастрофы — катастрофы такого масштаба, какого мы в Англии не знали на протяжении многих столетий. А именно такой катастрофой стала война для России.

Но я помню и другой случай. Эта картина, как и десяток других, столь же страшных, до сих пор ясно стоит у меня перед глазами.

Это произошло через два года после войны, когда Россия уже начинала восстанавливаться.

На большой дороге неподалёку от Москвы армейский грузовик занесло на снег. Он врезался в группу женщин и детей, а затем ударился о телеграфный столб.

Водитель погиб в кабине. Лобовое стекло было разбито и забрызгано кровью. Двое детей лежали мёртвыми в снегу, раскинув руки и ноги. У обочины умирала старая женщина.

Оставшиеся женщины, в чёрных платках на фоне ослепительно белого снега, не думали о погибших детях. Они бросились к грузовику, который был наполнен армейскими продовольственными пайками, и начали уносить оттуда огромные охапки еды.

К ним присоединилась толпа женщин из соседних домов. Они также не обращали никакого внимания на мёртвых и умирающих.

Позднее они, возможно, будут плакать. Но сейчас у них была еда.

Разумеется, теперь с продовольствием стало немного легче. Но нравственное разложение осталось. Такое унижение — особенно унижение самых великодушных и от природы добросердечных людей в мире — действительно защищает власть от восстания. Но оно не создаёт хороших граждан ни в мирное, ни в военное время.

В действительности величайшим преимуществом Сталина оставался страх перед войной, основанный на неведении русского народа.

Лживая кампания за мир действовала сразу в двух направлениях.

Она раскалывала внешний мир, для чего и была задумана, но одновременно укрепляла положение Сталина внутри страны.

Если он мог убедить миллионы людей, не знавших правды, что лишь он — при поддержке угнетённых и безгласных миллионов Запада — способен спасти их от новой войны, то ему было крайне выгодно изображать западные правительства, включая частный цирк господина Эттли, безумцами, одержимыми стремлением к войне.

Мы уже видели, что произошло в 1947 году, когда русских заставили поверить в близость войны: они просто опустили руки.

Новый план был гораздо лучше.

Он должен был внушить русскому народу, что, хотя господа Трумэн, Эттли и их союзники желают войны, мировые массы достаточно сильны, чтобы её предотвратить.

Это должны были быть угнетённые массы всего мира, сплывающиеся вокруг Советского Союза, который следовало сохранить как бастион мира благодаря самоотверженному труду самого советского народа.

Так проявлялось одно из главных достоинств Сталина — его шестое преимущество, то есть полная беспринципность.

Но беспринципный человек никогда не застрахован от того, что сам попадёт в расставленные им ловушки.

Мы уже видели, как это случалось со Сталиным прежде, и это произойдёт снова.

В любом случае беспринципность — не то качество, которому стоит завидовать.

Некоторым может показаться, что я слишком сгустил краски, говоря о советском режиме. Но я так не думаю.

После войны был период, когда Сталин, несмотря на всё страшное прошлое, мог бы, избрав новый курс, сохранить духовные силы своего народа. Я сам полагал, что такая возможность вполне реальна, и надеялся, что он ею воспользуется. Русские слишком много перенесли, и было бы ужасно думать, что все их страдания оказались напрасными.

Но Сталин этого не сделал.

Возможно, у него и не было иного выбора: он слишком глубоко погрузился в тиранию, чтобы отступить, даже если бы это отвечало его собственным интересам.

Другие с негодованием станут отрицать правдивость нарисованной мною картины. Это лишь часть общей картины, но они будут отрицать даже её.

Они скажут, что Советский Союз силён, процветает и ничего не боится.

Я не понимаю, почему люди, побывавшие в России или хотя бы читавшие о ней, утверждают подобное, — если только они не лгут сознательно, преследуя собственные цели или действуя в интересах Сталина.

Неужели они никогда не задаются вопросом: если советский режим действительно настолько прочен и благополучен, каким они его изображают, то чем Кремль может хотя бы отдалённо оправдать своё поведение за пределами России?

Третьи спрашивают: если положение действительно так тяжело, как я утверждаю, почему тогда так мало беженцев и почему не происходит больше случаев дезертирства из Советской армии и советских представительств за рубежом?

Я уже пытался показать, что ненависть к режиму для русских отнюдь не нова и сама по себе не приводит к немедленным, осознанным действиям.

Кроме того, любовь к родной стране у них чрезвычайно глубока, и это мы должны понимать.

Однажды я спросил русскую женщину, которая хотя бы понаслышке знала о Западе. Она происходила из военной семьи, пользовавшейся уважением ещё при царях. Она ненавидела режим мрачной, твёрдой и непримиримой ненавистью. На первый взгляд у неё не оставалось ничего, ради чего стоило бы жить.

Этой тридцатипятилетней женщине дворцовая гувернантка когда-то привила тот особый петроградский французский язык, на котором говорили в старом обществе. Вся её жизнь была сплошной катастрофой.

Я спросил её, уехала бы она из России навсегда, если бы представилась такая возможность.

Она лишь на мгновение задумалась, а затем твёрдо ответила, что не уехала бы — несмотря ни на что.

Когда я спросил почему, она отвернулась, посмотрела в сторону леса и сказала:

— Но как же я оставлю берёзы?..

Разумеется, во времена царей многие покидали и берёзы, и степь. Сегодня Россию покинуло бы ещё больше людей.

Но тех, кто пытается перейти границу, расстреливают.

А солдаты, которых во время службы в Германии или Австрии может посетить мысль о бегстве, постоянно помнят об указе Верховного Совета. В нём самым недвусмысленным образом говорится, что вся семья военнослужащего, дезертировавшего за границей, будет приговорена к пяти годам исправительных работ «в отдалённых районах Сибири».

Часть 5 Заключительные размышления

Заключительные размышления

Я дошёл до этого места в книге, так и не задав вопроса: будет ли война? Пожалуй, это своеобразный рекорд.

Моё глубокое убеждение в том, что большой войны с Россией не будет — по крайней мере, при жизни нынешнего поколения, — основано на выводах, к которым я в разное время приходил в предыдущих главах.

Иными словами, я не верю, что Сталин начнёт завоевательную войну.

Разумеется, очевидна опасность того, что мы можем втянуться в войну вследствие дипломатической неумелости, взаимной враждебности и паники. Но, надеюсь, я уже сказал достаточно, чтобы показать: между Сталиным и Россией, с одной стороны, и Гитлером и Германией — с другой, нет никакого сходства.

Как мы видели, у Сталина нет нравственных возражений против войны, а политика, которую он сейчас проводит, ничуть не менее преступна, чем любая завоевательная война. Но это всё же не завоевательная война.

У Сталина нет той внутренней потребности начать войну, которая была у Гитлера. Напротив, всё толкает его в противоположную сторону, если принять во внимание его характер, категории марксистского мышления, географическое положение и ресурсы Советского Союза, особенности русского народа, а также нынешнее бедственное и ненадёжное состояние страны.

Мне представляется, что существует лишь одна причина, которая могла бы побудить Сталина начать войну: попытка военной силой разрушить европейскую экономику, чего ему пока не удалось добиться иными средствами.

Если бы он мог сделать это, не опасаясь страшного возмездия, то, возможно, и решился бы. Но ни один человек, видевший Москву осенью 1941 года, не поверит хотя бы на минуту, что Советский Союз смог бы сохранить целостность под ударами американской авиации.

Именно на этом основаны доводы тех, кто считает, что единственным средством, удерживающим Советский Союз от нападения, является атомная бомба.

Я сам с этим не согласен.

По причинам, о которых уже говорилось, я полагаю, во-первых, что Сталин не стремится к завоевательной войне, а во-вторых, что, даже пожелай он начать превентивную войну, советская экономика ещё несколько лет не смогла бы выдержать напряжения, связанного с полной мобилизацией.

Это не означает, что мы не должны быть готовы к нападению.

Мнение остаётся мнением, и я постарался объяснить, на чём основано моё. Но холодная война и принципиальная готовность Сталина к агрессивной войне — это факты, которые мы обязаны учитывать.

В конечном счёте, возможно, лишь наша способность сопротивляться будет удерживать Советский Союз в определённых рамках до тех пор, пока его новый средний класс тем или иным путём не достигнет зрелости.

Тогда он либо в момент катастрофы захватит власть и полностью изменит государственную политику, либо постепенно, с течением времени, усиливая своё влияние и давление, сам превратится в правительство.

Но мы не можем просто ждать этого дня.

А значит, хотим мы того или нет, нам придётся тратить деньги на вооружение — деньги, которые мы с гораздо большей охотой направили бы на другие цели.

Но действительно ли здесь уместно слово «тратить впустую»?

Советская Россия — такая же неизбежная данность жизни, как и всё остальное. Например, как погода.

Мы не тратим время и силы, грозя кулаками облакам. Мы покупаем зонтик и не считаем потраченные на него деньги выброшенными на ветер.

Одна из трагедий нашего времени состоит в том, что мы, по-видимому, неспособны принять расходы на оборону как неизбежность, пока не доведём себя до истерии страха и ненависти.

Только поэтому утверждение о том, что вооружения неизбежно ведут к войне, может оказаться верным.

К войне ведёт не само оружие, а чувства, стоящие за ним.

А эти чувства — ненависть и страх — если вдуматься, направлены не столько против врага. В действительности это ненависть к самой жизни, которая требует от нас подобных жертв.

Я не ненавижу барсука, живущего в лесу у нижней границы моего сада, который внезапно и весьма предосудительно пристрастился к моим курам.

Он отнимает у меня время и деньги, которые можно было бы потратить с большей пользой. Хотя на что именно?

Но когда мне удаётся надёжно оградить курятник проволокой, я продолжаю любоваться этим красивым и добродушным зверем, чьи интересы, к сожалению, вступили в противоречие с моими. Если он прорвётся через ограду или подкопается под неё так, что удержать его больше не удастся, тогда его придётся убить.

Это возможно, потому что я сильнее.

Но в моём сердце не будет ненависти — лишь сожаление.

И если повезёт, проволока удержит его, и убивать его не придётся.

Эта проволока будет куплена без злобы, лишь с печальным признанием суровых жизненных обстоятельств, на деньги, которые первоначально предназначались для чего угодно, только не для ограждения курятника от барсуков.

Мне кажется, немного такого отношения к более серьёзным жизненным обстоятельствам никому из нас не повредило бы.

Эти размышления могут показаться банальными, но они естественно возникают в ответ на столь же банальную по своей сути ситуацию, которую мы сами драматизировали гораздо сильнее, чем она того заслуживает.

Подобная ситуация без конца повторяется с самого начала мировой истории.

И я хотел бы попросить моих американских друзей, считающих, что мы на этом острове относимся к происходящему слишком легкомысленно, помнить: на протяжении последних двух тысяч лет нам постоянно приходилось жить с мыслью о вторжении, а порой — и с самим вторжением.

Есть и те, кто считает, что коммунизм всё же предпочтительнее войны.

В мировой истории произошло множество революций, и мы сами являемся результатом каждой из них. И всё же сегодня мы оказались в таком состоянии духа, что готовы допустить полное уничтожение цивилизованного мира, включая собственную страну, лишь бы не позволить коммунистической революции восторжествовать.

Мы, являющиеся плодом всей предшествующей истории, вправе сказать: поражение ни одной революции прошлого не стоило бы такой жертвы.

Что же именно в наступлении того, что мы называем коммунизмом, выделяет его из всех революционных движений прошлого?

Надеюсь, эта книга дала ответ на данный вопрос.

Мы готовимся противостоять, используя весь чудовищный арсенал современной войны, не коммунизму как внутреннему революционному движению. Мы противостоям правительству иностранной державы, которое стремится подорвать наше общество, а в случае войны — заменить его собственной системой, которую мы считаем порочной.

Единственные люди, которые могут с чистой совестью отказаться от сопротивления такому натиску, — это те, кто считает всякое противодействие силе злом.

Вероятно, их позиция основана на убеждении, что сила, не находя пищи, сама иссякнет. Говоря конкретнее, они верят, что, полностью сдавшись, даже ценой собственного физического уничтожения, мы тем самым станем орудием сталинского очищения.

Я в это не верю.

И уверен, что подавляющее большинство тех, кто сегодня выступает за политику нейтралитета, тоже в это не верят.

Они отстаивают нейтралитет не потому, что считают нравственно недопустимым сопротивляться злу силой, а потому, что полагают, будто зло всё равно победит.

Такая точка зрения имеет право на существование, но это уже не наша проблема.

Это проблема Бога, если Он существует. А если Бога нет, тогда и сама проблема не возникает.

«Les imbéciles ont toujours raison» — «Глупцы всегда правы».

Так говорил Клемансо, и в этих словах немало истины.

Мы видим это по растерянности миллионов простых мужчин и женщин по всей Европе. Политбюро с лёгкостью использует эту растерянность в собственных интересах, прежде всего самым постыдным образом извращая всеобщее стремление к миру.

Очень многие люди не смогли заставить себя отказаться от подписи под простым и на первый взгляд совершенно безобидным документом, требовавшим запретить атомную войну.

Народ — те самые «глупцы», как назвал их Клемансо, — имеет все основания быть растерянным хотя бы потому, что многое из того, что говорят о России ответственные руководители, известные своим умом, очевидно неверно.

И это очевидно даже тем, кто непосредственно не знаком с истинным положением вещей.

Кроме того, существует и противоположное давление со стороны наших интеллектуальных вождей.

Господин Бёрнхэм утверждает, что мы живём в эпоху катастроф:

«Тоталитарные политические движения нашего века, особенно коммунистическое, приняли катастрофическое мировоззрение».

Далее он заявляет, что, если мы сами не примем такое же мировоззрение, не станем бороться с коммунистами их собственным оружием и не начнём воспринимать пережитое нами за последние сорок лет как норму, а не как исключение, мы обречены.

Но вся глубокая ошибка господина Бёрнхэма скрыта именно в этой единственной, с виду безобидной фразе.

Тоталитарные движения не приняли катастрофическое мировоззрение — они его создали. И теперь через таких усердных последователей, как господин Бёрнхэм, пытаются навязать его нам.

Господин Бёрнхэм родился с этим мировоззрением. То же самое относится и к господину Кёстлеру.

Теперь оба стараются разжечь в нас дух активного крестового похода против коммунизма, используя оружие самого коммунизма.

Оба — бывшие коммунисты, восставшие против Сталина.

Иными словами, оба они — как, впрочем, и многие другие — искали кратчайшие пути к недостижимым целям, к миру, отличному от того, в котором мы живём, и, по их убеждению, гораздо лучшему.

Оба потерпели разочарование.

Но оба по-прежнему ищут короткие пути, ведущие через насилие, и пытаются увлечь за собой нас.

Ни одному из них — как и тысячам людей, мыслящих подобным образом, — не приходит в голову, что в действительности они осуждают не коммунизм и не фашизм, не то или иное проявление человеческой природы, а саму жизнь — жизнь, которая отказывается подчиняться приказам.

Кёстлеры и Бёрнхэмы, разочарованные тоталитаристы, на самом деле не являются противниками коммунизма. В глубине души они — противники человечества.

Но, в отличие от мадам дю Деффан, они не желают этим ограничиться — либо просто не способны осознать истинную природу своего состояния.

Поэтому они стремятся вовлечь весь мир в воинствующий крестовый поход лишь по одной причине: чтобы вернуть себе утраченную веру.

На другом полюсе — хотя и в менее эффектной форме — находятся те левые социалисты и другие люди, которые пытаются убедить себя и окружающих, будто советская система была бы для нас ничуть не хуже американской.

Причины, по которым я считаю советскую систему не только хуже американской, но и безусловно порочной, тогда как американская система, по крайней мере в своих возможностях, способна быть благотворной, уже изложены в этой книге. Поэтому я не стану вновь подробно останавливаться на этом сравнении.

Думаю, мало кто испытывает к русскому народу больше восхищения и привязанности, чем я. И если на этих страницах я временами говорил о русских сурово, показывая лишь одну небольшую сторону истины, то в других своих работах я выражал не только любовь и уважение к ним, но и убеждение, что рано или поздно мир будет благодарен русскому народу за то, что он сохранил некоторые ценности, утраченные нами.

Вероятно, мало кто из противников советской системы так настойчиво, как я, пытался показать, что самые страшные её проявления в значительной степени возникли не по заранее рассчитанному плану. Это относится, как я полагаю, даже к холодной войне.

Говоря о случайности, я имею в виду не то, что эти явления появились без причины, а то, что они не были заранее хладнокровно задуманы и сознательно спланированы. Вместе с тем они неизбежно происходили из отказа от определённых ценностей, от которых, по моему убеждению, невозможно отказаться безнаказанно.

Наверное, мало кто критикует некоторые стороны американского образа жизни резче, чем я.

Я критикую неспособность американцев осознать собственную силу; то, насколько неосознанно они навязывают свой образ жизни народам Западной Европы; а также, например, то, как американская налоговая и таможенная политика способствовала ослаблению Запада.

Но когда приходится выбирать между Америкой и Россией, никакого выбора в действительности нет.

Хорошо это или плохо, но то «мы», которое было определено в первой главе этой книги, включает подавляющее большинство англичан, жителей Западной Европы и американцев.

В основе своей мы верим в одни и те же ценности, хотя, одному Богу известно, как часто они искажаются и почти исчезают.

Именно эти ценности Сталин стремится уничтожить.

Всё настолько просто.

Мы не обязаны восхищаться каждой отдельной чертой наших друзей, как и они не обязаны восхищаться каждой нашей чертой.

Но мы знаем, кто наши друзья.

Я вижу лишь один способ, которым Кремль ещё может победить нас, причём без войны.

Он может настолько запугать нас — хотя позволяем запугивать себя именно мы сами, — что из страха перед внутренним врагом мы незаметно превратим собственное общество в тоталитарный механизм, по существу неотличимый от строя Советской России.

Это будет система, которую нельзя критиковать — будь то британский парламентский строй или американский образ жизни, — поскольку всякая критика якобы угрожает национальному единству, единству могилы.

Это будет система, в которой нельзя разоблачать хулигана и взяточника и нельзя защищать слабого, потому что никто не решится подвергнуться риску быть объявленным «красным».

Мне кажется, это вполне реальная опасность.

Уже сейчас в Западной Европе и Америке, а особенно в Америке, коммунистам позволили присвоить себе защиту целого ряда необходимых и справедливых реформ.

Если наступит день, когда мы побоимся проводить любое разумное и просвещённое преобразование лишь потому, что коммунисты по своим весьма сомнительным причинам тоже связали себя с ним, тогда Сталин победит.